В. С. ЯНОВСКИЙ

ЧЕЛЮСТЬ ЭМИГРАНТА

Издательство «ДИАЛОГ»

НЬЮ-ИОРК • 1957 г.

В. С. ЯНОВСКИЙ

ЧЕЛЮСТЬ ЭМИГРАНТА

ПОВЕСТЬ

НЬЮ-ИОРК
1957

HOMO EMIGRANS' JAW

by

V. S. Yanovsky

Printed by Rausen Bros. 142 East 32nd St. N. Y. C. 149

Hold my hand,
I'm a stranger in Paradise . . .
ария из Kismet

1

В приемной зубного врача, по случаю св. Патрика, пустынно; за окном, со стороны Пятого Авеню, с грохотом океанского прибоя, разбиваются о камни кафедрального собора новые оркестры, грозя своими трубами, литаврами, барабанами. До двадцатого этажа акустические волны, — как, впрочем, озона и света, — доходили смягченными и отцеженными.

На стенах чистой, серой приемной висели в тяжелых рамах снимки, препараты, макеты челюстей, опухолей и зубов — разных проекций, оттенков, разветвлений... Богдан с отвращением рассматривал розовых, фарфоровых ублюдков, завернутых в вату.

— Что, любуетесь? — Шумахер вкатился шариком: — Еще бы! Вот это уник: зуб мудрости пещерного человека. Принадлежал существу, жившему за 200.000 лет до нашей эры, ха-ха-ха.

— Неужели, — вежливо удивился Богдан.

— Ха-ха-ха. Из берлинского музея. Стоит пятьсот картонов Честерфильд... А это клык обезьяны. Обратите внимание: видите бугорок? В этом вся штучка: больше никакой разницы, ха-ха-ха.

Ирландские дудки сверлят небоскребы; из окна видно: далеко внизу отдельные колонны чинов гарнизона, саперов, гвардейцев, кадет, учениц, сестер милосердия, работников ассенизационного обоза, шли на штурм кардинала Спеллмана в малиновой тоге — все они казались миниатюрными и без-

опасными. («Что я здесь делаю?» — мелькнула знакомая, сумасшедшая мысль).

— А вот, — задавался Шумахер: — челюсть, найденная в Перу: ей тысяча лет! Только, к сожалению, у меня не оригинал, а дорогая копия. Полюбуйтесь: они уже тогда пломбировали! Ей Богу: грубо, примитивно, но безусловно пломбы и коронки.

Богдан покорно уткнулся в стекло, изучая потемневший от времени обломок нижней челюсти с металлическими точками в некоторых полууцелевших зубах.

— А мы считаем себя исключительными гениями... Атомные бомбы, погодите, найдут и допотопные атомные бомбы, ха-ха-ха.

— Да, неопределенно промычал Богдан.

— Однако, ученые не знают отчего такое различие в технике, — продолжал делиться любимыми мыслями дантист: — Есть вполне добротные из серебра, есть из бронзы, а рядом совсем рудиментарные, из смеси гипса с глиною. Специалисты написали целые труды об этих пломбах и всё-таки не нашли объяснения...

— Вероятно, это эмигрант, — тихо сказал Богдан: — Бежал с родины, скитался по многим государствам с разным уровнем культуры и в зубах сохранился след его передвижений.

— Очень остроумно, — снисходительно похвалил Шумахер. — Но ведь еще не доказано. Вообще, наука интересуется, главным образом, анализом, химией, электролизом, а не литературными догадками.

— Мне, наоборот, было бы гораздо интереснее узнать мысли, чувства, склонности этого древнего пациента: о чем он мечтал, кого любил, как жила его душа... но этого мы, кажется, никогда не узнаем.

— Пожалуйте, прошу, — торжественно пригласил Шумахер и провел Богдана к электрическому стулу: он не любил, чтобы его прерывали.

Зуб шатался уже давно: не имея антагониста, вытянулся — левый клык.

Пользы явно никакой: только ноет и отравляет. А расстаться жалко: спереди, значит, конец, метаморфоза натурального рта.

За столиком, внизу в кафетерии, с дантистом, соседом по 20-му этажу, Богдан шутливо вздернул край губы и толкнул языком высунувшийся клык — прямо под нос Шумахера.

— Выдернуть! Сами понимаете: инородное тело!

Как мило со стороны чужого человека (знал, что Богдана опять перевели вниз по служебной лестнице)... А может, так вырвалось: болтун ведь — и сразу пожалел! (Тоже бывает). Добрый, тучный бруклинец, лично не пострадавший от революций, войн, концлагерей, блокад, но каким-то чутьем знающий всё про нужду, болезни, долги, смерть и последний суд. Хотелось назвать его умницей, так понимал он налету чужую беду и даже всегда напоминал о ней. Но именно слово умный к Шумахеру не подходило. Наоборот, всякий раз, слушая его, Богдан опять и опять поражался этой исключительной коллекции черт глупости и скуки. Кроме того, — или именно поэтому, — дантист был фарширован пошлыми анекдотами, баснями и поговорками. Причем, штучки его требовали вспомогательных диаграмм, пояснительных текстов, энциклопедических ссылок — не обязательно скабрезные, они как общее правило были сложны и невеселы.

«Какой, однако, утомительный бедняк», — решал Богдан неоднократно, слушая Шумахера за сандвичем в подвале, куда они спускались ежедневно в полдень. — «Но добрый, добрый малый, несомненно». Благодаря ему, Богдан вдруг сообразил, что одной доброты недостаточно и сделал соответствующую запись в своей древней тетради, куда изредка заносил впечатления и мысли, свидетельствовавшие о происходящих изменениях в душе.

Юношей Богдан верил в личные таланты и искусство; но вот запись конца двадцатых годов: Ce n'est que l'art!

Наступил черед естественных наук: он слушал биологию

в Коллеж де Франс и заставлял себя читать Юнга и Маркса, но скоро Бергсон ему растолковал, что естествознание только метод, а не цель. Тогда выступили новые свидетели: Франциск Ассизский и апостол Павел (кимвал бряцающий). Во время «смешной» войны, в подворье префектуры полиции, Богдан однажды подслушал разговор двух загнанных эмигрантских душ: «К чему мне умный человек, что мне с ним делать?» — говорил один. На что второй раздраженно ответил: «Ах, лес муа респирэ»... Тогда Богдан сочувствовал первому; а теперь неожиданный опыт: Шумахер! Одной доброты тоже недостаточно. Чтобы заполнить образовавшуюся метафизическую дырку, Богдан внес в свою тетрадь: «Между жалостью и любовью дистанция, дистанция. Поменьше бы жалости в человеке с его личной сентиментальностью и жестокой идентификацией. Любовь, как свет звезды, холодна, прозрачна, безлична в основном, мудро горит и не сгорает, связанная больше со своим источником, чем с плоскостью, на которую падает. Апостол не сказал, что всё к р о м е любви чепуха; он только заявил, что всё б е з любви чепуха».

Итак, левый клык торчал, — воистину клык, — и мотался во все стороны: только помеха. А в промежутках между едою постоянно ныл — лишнее тело, чужое, мертвое.

Годы французской жизни интимно связали Богдана с полицейскою кличкою *étranger*. И определение больного зуба, как *foreign body*, ему напомнило много жестокого в его жизни. Чужое тело, конечно, следует удалить; и всё же душа эмигранта сжалась, слегка сочувствуя этому инородному меньшинству, если и мешающему, то не всегда по своей вине.

Выдернуть передний зуб, затем резцы — а там, очевидно, протеза. Гамлет, Иосиф К., Раскольников: извлечь резец или не извлечь, пойти на искусственную челюсть или не пойти, распадаться по частям или... (здесь вся заковыка). «Как это было? Ведь рвал я себе зубы в прошлом. Раз, два, три, одиннадцать упраздненных мест. Тогда было просто», — удивлялся Богдан.

А клык всё отважнее шатался, цеплялся за другие зубы (звук: коса об камень, пила на гвоздь); тупо, требовательно ныл. «Еще нарыв образуется». И на св. Патрика, когда низко над городом повисли оркестры и дублинцы угрюмо шагали мимо сияющего кардинала, Богдан, наконец, решил завернуть к Шумахеру.

К удивлению своему отметил, что испытывает нечто вроде страха. Да, боится, как баба, щипцов, боли без смысла, таинственных осложнений, сердечных и бактериологических сюрпризов: ведь случается! Когда-то об этом даже не задумывался (так, Наполеон у Бородина догадался вдруг, что его могут обойти, опрокинуть, окружить — а прежде рассчитывал только на удачу). Заставляют рисковать, принимать участие в игре без шанса на выигрыш. Вот извлекут еще один зуб, безвозвратно, упадет тяжелый камень на дно и сверху опять сойдется ровная, твердая, блестящая, острая десна, враждебная всякому чуду. Ау, молочный зубок, где ты! Как таинственно просто и совершенно произошла та метаморфоза.

2

Да, кончились чудеса в теле Богдана: еще один процесс сворачивания, невозвратимый (*irreversible*). Из-под молочного вырос крепкий, стройный, надежный зуб, как обещали родители (без обмана), до того удачный, что потом о нем долго не вспомнишь (а когда заметишь — уже плохо). А вот ранняя пломба: увы, запоздалая, эвакуационная, темного серебра, несокрушимая — зуб искрошило во Франции, а пломба еще висела глыбою, грозя обвалиться. В Париже цвела сирень: крупная и менее пахучая. Во рту торчал утес — острые края царапали язык. (Богдану снилось: ломается, тает, крошится всё во рту). И мать одного знакомого музыканта пожалела лохматого юношу: по собственной инициативе и даром поставила коронку. (Вот это золото, еще блещет за щекою, а дантистки той давно нет — пропала без вести в 1943 г. Несокрушимый, мертвый корень с металлической шапочкой — безглас-

ный спутник почти всей жизни Богдана). Зато спереди был совсем здоровый клык, никогда не беспокоил и вот надо удалить, сразу, совсем, хотя известно: другого молочного преображения уже не жди. («Откуда ты знаешь?»).

Сколько раз Богдан ходил к дантисту и главным образом — рвать. Бывало, это даже воспринималось как творческий акт, дававший в осадке чувство удовлетворения: вот избавиться от гнили, тяжести, воспаления, останется только годное, добротное, с чем можно жить и побеждать. Но постепенно сознание незаметнейшим образом менялось, уступая скромной действительности... Всё равно, и задний побаливает и нижний в черных пятнах, а сбоку ноет от холодного и горячего: что же, рвать начисто? Откуда только взялась эта новая мудрость: удаляй самое неотлагательное, бросай волкам на съедение одного коня и скачи дальше без плана — ночь темна, огней не видно и до села далеко (но, чу, будто церковный благовест). Забавная гонка: что раньше иссякнет — соки в жилах или зубы во рту. Всё дело в синхронизации. Смешно умереть, оставив полный рот жадных зубов, а жить с темными пеньками тоже обидно. Синхронизация. Ритм. Вы танцуете в паре с врагом, но соблюдайте темп и слушайте музыку. Смерть напирает равно на шар: не пропускайте ее, но и не слишком отталкивайте, вдруг, в одном месте: мягкость, гармония, ритм. Да, извне пустота, небытие, ничто и мгла, и зло, и холод. А в середине, на узком пляже, я и вы: жизнь. Бог сперва создал вакуум и ничто и тьму, чтобы иметь площадь для сотворения мира. Другой вариант: наш космос вторичного посева, поэтому он относительно прекрасен и отчасти совершенен. Когда неумелые любители построили неустойчивый мир, последний рассыпался на части. Бог по любви своей, чтобы спасти от небытия хоть эти беспомощные дольки, создал из них ограниченную, но явно прочную систему. Не удивляйтесь мыслям Богдана; гностики, Плотин, книга Зогар, блаженный Августин, Федоров, Яков Бэме это родные, будничные имена, как и липы над Сеною, Гогэн, *"A la recherche du temps perdu"* и полет Линдберга в одиночестве. В этой среде Богдан по праву зрел,

наливался, рос, попросту жил и о «темном центре внутри Бога» он честно думал, даже теперь, направляясь в кабинет Шумахера.

«Всё-таки, почти страшно: боюсь, определенно трушу. А помнишь, шел к дантисту, как на осмысленную работу — долг, урок». Всё, всё готов был вырвать Богдан, что гниет, шатается, болезненно: изо рта, из России, из мира — прочь! «Что же случилось, где предательство, как незаметно подменили части души». Если выяснить основные чувства, мысли, влюбленности и вдохновения, если отметить пунктиром разных цветов действительную и воображаемую реальность, в недрах коей Богдан обретался когда удалял каждый свой обреченный корень, то получится весьма правдоподобный макет всей его жизни — и в совершенно неожиданном разрезе. Портрет с новым освещением, покоющийся на дюжине камней — точно индустриальные алмазы дорогих часов. Современное ожерелье из клыков и резцов. Такой опыт должен заинтересовать не только передовые художественные школы, но и ряд демократических организаций, ученых обществ. Ибо твоя боль, Богдан, твои мыслишки и выпадающие зубы, освещенные заревом тотальных и локальных пожаров, оккупаций, блокад, концлагерей, голода, тюремных пайков и братских виз, это всё образ далеко выходящий за пределы лично личного, строго индивидуального. Ведь не ты один рассыпаешься на части. Подумай здраво: сколько кругом дантистов занято с утра до ночи — это ли не объективное явление.

Сидя на зубоврачебном троне в центре Нью-Иорка, 17-го марта, повязанный бумажной салфеткою и одним ухом тревожно прислушиваясь к потоку сердобольного дурака, Богдан почти против воли брел назад по собственным следам: неловко скакал с кочки на кочку, удивленно озирая открывающуюся ему мозаику. Образ разных событий, их интерпретация, претерпевают таинственные изменения вместе с ростом (или разрушением) вспоминающего. Какой момент сознания соответствует действительности? Через много лет, под грузом усложненного опыта, нам прошлая боль, вдруг, покажется пу-

стяком, а подвиг ребячеством — что же, доверять выводу? На высокоправдивом художественном полотне рельсы железной дороги сбегаются в перспективе (ведь это ложь).

Шумахер ловко и весело вспрыснул новокаин, рассказывая о современных успехах зубоврачевания, и сразу (дожидаясь действия наркоза) приступил к анекдотам. Дама является к хирургу: ноги, живот в сплошных синяках, ссадинах. Доктор прописал мазь, удивленно расспрашивая: — Откуда такие кровоподтеки?.. Но дама не отвечала. На завтра он получил от нее письмо с объяснением: посмотрите в телефонную книгу под указанной ниже фамилией и вы найдете разгадку! С этими словами, Шумахер распростер на коленях пациента приготовленную заранее толщенную книгу абонентов Нью-Иорка. Богдан как раз накануне у себя в конторе уже слышал этот анекдот (вплоть до поисков в телефонной книге); однако, у него не хватило духу огорчить доброго пошляка и он кротко, придерживая онемевшей щекою салфетку, начал перелистывать десятифунтовый камень в мягком переплете. Шумахер не выдержал и порывисто раскрыл нужную страницу, ткнул пальцем в подчеркнутую строчку и отступил назад торжествующе, как фокусник, дожидающийся заслуженных рукоплесканий. В указанном месте, вслед за фамилией значилось: Manufactures of steel balls.

— Хэ-хэ-хэ, — медленно залился Богдан, словно вникая и смакуя: — Хэ-хэ.

Шумахер только снисходительно сиял печальными глазами: в который раз сегодня он уже преподносил этот вздор!

«Тайна, — восхитился Богдан: — Глупая шутка в один, два дня облетает все уголки, конторы, города штата, через неделю она в Сан- Франциско. И так было до телефона, телеграфа, радио. Доктрина трубадуров в один месяц распространилась из Прованса до Рейна и Нидерландов. Секрет человеческого общества, не чуждый, вероятно, и муравьям».

Когда дантист, раскачав, потянул зуб щипцами вниз, острая боль вдруг озадачила Богдана; завороженный расска-

зом об успехах медицины, он ожидал другого и возмущенно схватил Шумахера за руку... Но тотчас же, устыдившись, стих. И тогда клык легко выскользнул. Только боль создавала впечатление борьбы и усилия. На самом деле дантист удалил — просто и даже элегантно, без осложнений.

— Я не дал полного наркоза, боялся ткнуть в периосту, на случай инфекции...

— Понимаю, понимаю, — сконфуженно отводя глаза, твердил Богдан.

«Случалось, мне дергали даже без наркоза; одному зубному технику я сам помог удалить мой обломавшийся под щипцами корень (сирень, первое башо, Гамсун). И не боялся; и не гордился: не задерживался мыслью на таких подвигах. Как настойчиво тогда дышала грудь. Что произошло? Почему теперь иначе?» — спрашивал Богдан-жертва.

«А очень естественно, — откликался Богдан-хор: — Естественно, хотя и не логично. Когда были силы и отвага переносить, побеждать любую опасность, тебе ничего серьезного не могло угрожать. А теперь, когда кругом в непосредственной близости только боль, осложнения и даже агония, всё, что выпадает на твою долю уже весьма рискованно».

Голос Богдана-героя покрывал первых два: «Братья, сестры, молодые, смелые, не откладывайте дела своей жизни на завтра. Не думайте, что в крайнем случае потом удастся понять, объяснить, закончить. Теперь, теперь. В агонии у человека нет даже сил дышать. Чтобы размышлять нужен излишек сил. То, чего вы не постигнете в расцвете и зрелости, вы уже никогда не усвоите, вероятно. Не полагайтесь на страдания и смерть, как на учителей и помощников».

Этот диалог звучал, как фуга, сопровождаемая жужжанием пылесоса.

— Вот и почистили немного, дряни-то сколько накопилось, — негодовал милый Шумахер: — А второй клык мы через недельку хватанём. Ах, пустяки, я всё знаю, не стоит благодарности. Потом и маленькую челюсть соорудим.

«Наконец-то, искусственный зев: вот оно, не отвер-

тишься! Радикальный переход. Следующий опыт, спиралью! Предвидел и всё же сюрприз (как любовь, деньги и смерть), — в несколько голосов думал Богдан. — Молочные зубы тезис; постоянные антитезис. А фабричные синтез, что ли»...

Сначала так: удалить этот зуб или тот — и всё чудно, в исправности. Но вот декорации с освещением поменялись: отныне и малый коренной и большой, тут справа, там слева, плюс антагонисты — повсюду закралась разлучница. Не очистишь, радикально. Надо, значит, поступать сообразно и решаться только на самое необходимое: изо дня в день. И вдруг теперь новый план замаячил впереди: вымести рудиментарный хлам и водворить искусственную, в своем роде, бессмертную уже улыбку.

— Вот прикусите марлю и подержите с часок.

Но прикусить, к ужасу Богдана, оказалось нечем: антагонист и другой, рядом, ему успели уже удалить тут в Нью-Йорке, еще в годы войны.

3

Кое-как придерживая деснами кусок марли, Богдан отдался лифту, который его торжественным камнем спустил вниз. Солнце уже светило по-весеннему и даже грело, но ветер жестоко подметал мостовую, пыль, мусор, бумажки бешено носились, сворачивались, взлетали — не уменьшаясь в количестве, постоянные в своем разнообразии. Со стороны Пятого Авеню плелись группы уставших, но оживленных, разодетых в странные мундиры участников парада.

Накануне вечером состоялось собрание одного общества, в деятельности которого Богдан считал себя заинтересованным; однако, во время доклада приезжего бельгийца-католика и последующего обмена мнений, его совершенно отвлекала мысль о завтрашнем свидании с Шумахером и мешала сосредоточиться. Теперь, подгоняемый мартовским, атлантическим ветром и тягучим воем труб, Богдан точно освободился из оков и неожиданно воспринял то, что происходило на собрании, с новой ясностью; так что непроизвольно даже вступил в тяж-

бу с ожившими тенями (которые теперь, вероятно, уже не помнили о его существовании).

На собрания эти сходились разнокалиберные люди, старавшиеся, повидимому, выяснить как надлежит жить христианину в современном мире. Война оставила печать особой горечи на этих жаждущих убедительной веры людях. Любопытно, что все участвующие группы, несмотря на объединяющее имя Христа, резко отличались между собою, сообразно историческому опыту.

Богдан легко определял национальные и расовые принадлежности постоянно меняющегося состава, и не по акценту или цвету кожи, а по содержанию речей — что, впрочем, не доставляло ему удовольствия.

Французы были самыми радикальными; их коктэйл из цинизма и католического конформизма таил в себе несомненную остроту. Литургия, сопутствуемая равнодушием к судьбе безработного, воспринималась ими как преступление против Святого Духа (что несколько сближало их с русачками). Эмигранты всё знали, всех поучали и требовали только фактического упразднения свобод, доброкачественных паспортов и валюты, чтобы уладить спорные вопросы, как на родине, так и по соседству в Европе, Азии, Африке.

Американцев социальный вопрос совсем не волновал; их удручала русская тема: государственный произвол, примитив, нищета (при наличии несомненного духовного запала). Англичане, по существу, примыкали к ним, утверждая, что нет узла на Западе, которого не удалось бы распутать в рамках существующих англо-саксонских конституций (атомную войну, впрочем, надо избегать пока это совместимо с достоинством человека).

Южно-американцы, испанцы, итальянцы напоминали русских интеллигентов *fin de siècle*. Идеализм, благородство, порыв и лень, зависимость от прислуги и любовь к сладенькому.

Каждый из индивидуальных представителей этих групп имел свою личную морщинку, складку, пружину, на которой держался, считая ее ключем к создавшемуся положению. Один

находил главное зло в уходе людей с земли и оделял желающих дешевыми фермами в кредит. Другой призывал строить удобные жилища для бездомных рабочих в больших городах; третий был уязвлен расовыми безобразиями в Южной Африке и видел всё грядущее зло оттуда. Четвертый полагал, что насекомые, наводнения, засухи, вот с чем надо бороться в первую очередь! Пятый считал контроль деторождения в государственном масштабе панацеей (или, наоборот, апокалипсисом). И каждый имел шансы, при некоторой удаче, стать мучеником и святым на своей полоске.

Объединял всех этих друзей, пожалуй, образ любви. Они стройным хором утверждали, что самое главное при встрече А с Б, чтобы первый любил второго и действовал только по любви, из любви, от любви. Что именно он делает — уже не важно: любовь сама творит чудеса (искусство для искусства).

Эта постоянная, эгоистическая, основанная часто на идентификации, мечта о любви к ближнему давно возмутила Богдана; ему хотелось объяснить, что Бог есть не только любовь, но и свет, а свет расходится прямыми линиями: он освещает то, что на его пути — равно и розы и мусор, такова природа его! Если поставить на место конкретного Б новый В, то свет будет продолжать изливаться с прежней готовностью, а не свернет и последует за Б, чтобы обязательно его лично согреть (вот именно этой своей затаенной мысли Богдану не удалось складно высказать накануне).

Самыми утомительными были, разумеется, упражнения дорогих соотечественников. Они ухитрялись одновременно и напугать и насмешить слушателей. Ненавидя сволочно́й большевизм с его куцой социальной правдой и гигантской жизненной ложью, они, однако, не хотели отказаться от «русской национальной идеи» или детского мессианизма времен Достоевского; после сорока лет позорного коммунизма, соплеменники совсем не конфузились и еще норовили спасти кустарными средствами остаток человечества (на меньшее степная душа не соглашалась). В порыжевших башмаках они топтались у чужого котла, подкармливаясь, часто не по заслугам, и но-

ровя в благодарность преподать непонятливым иностранцам урок в политике, праве, морали, совести, организации земных и небесных учреждений. Вселенский анекдот, подчеркнутый еще тем, что русские в серьезных делах истории, религии, права, неизбежно ссылались на литературные произведения. «Причем тут Толстоевский, — недоумевали серые иностранцы: — Мы говорим о конституции, суде, железных дорогах, налогах, учебных заведениях, сексе, а вы уже опять пустились в пляс от литературной печки». Причем, Богдан, к ужасу своему, всё чаще и чаще видел, что гениальная отечественная словесность уводит именно в ту трясину, откуда с ядовитым бульканием выделился большевизм.

Чахлые эмигранты пытались спасти себя и мир именем Толстого; но отрицать одним росчерком пера культуру, традицию, церковь, науку, искусство и не очутиться у разбитого корыта — трудно! Метод этот варварство, а одно варварство приводит к другому. Другие цеплялись за беднягу Достоевского и как некие духовные «Очи черные» хором тянули: Алеша Карамазов, Алеша Карамазов, старец Зосима, старец Зосима... («Идиота» эти джигиты почему-то меньше терзают). Богдан знал, что в каждом большом чекисте сидит маленький Достоевский; отношение последнего к полячишкам, иудеям, французишкам, католикам и Дарданеллам вряд ли враждебно природе партии Ленина-Сталина.

— Русский человек всечеловек! — вещал Достоевский. И это так польстило враждовавшим западникам и славянофилам, что они даже помирились. Те самые здравомыслящие лысины, которых рассмешил немецкий тупоголовый сверхчеловек, отлично уживаются с уютным сознанием собственного всечеловечества, забывая основной урок евразийской истории: не до жиру, быть бы живу!

Доказательство того, что русский человек обязательно всечеловек, Достоевский избрал чисто беллетристическое. Пушкин де так описал сценки из западного средневековья, что и тамошним художникам по сей день завидно! Значит, всече-

ловек. А если у Пушкина универсальная душа, то и у всех его соплеменников.

Кто судья, что Пушкин так хорошо описал скупого рыцаря? Этот самодовольный вздор так польстил русачкам, что за почти сто лет никто не сообразил следующего: ведь Пушкин перевел Песни Западных Славян с французского, сочиненные Мериме. Пушкин их счел подлинными! Значит и француз бывает всечеловеком, если он мог так подделаться под славян. (А может, только Мериме, Пушкин, Стендаль, а не все русские и французишки). Достоевского, повидимому, потому и любят потенциальные чекисты, что он их заверил в безусловном всечеловечестве: навеки и при любых обстоятельствах.

Богдан всем нутром своим чуял, что большевизм в русской истории не эпизод. Значит, если в нем нет никаких спасающих честь отступлений, то русская культура так же позорно исчерпает себя, как и немецкая. (Чтобы отстоять национальную честь, надо найти хоть искру добра в проказе большевизма).

Богдан знал еще со времени выхода в свет своего скандального романа «Святой Скорпион», как выгодно польстить землякам и соотечественникам, пощекотать их волосатые подмышки, лизнуть по шерсти... Только таким путем можно стать писателем земли родной, властителем дум, водителем душ. Если же мразь называть мразью, тупозвериное тупозвериным, глупость высмеивать, если упорно повторять народу: тише, скромнее, подбери живот... то читатель почему-то обижается и начинает скучать.

Вообще, гипертрофия одной функции в русской культуре, изящной словесности — дело сомнительное и даже вредное. Страны, где наука, суд, железные дороги, гражданственность, полиция, церковь, нравы, условия быта достигают высокой степени развития, те страны обыкновенно (но не обязательно), могут похвалиться хорошей литературой. Но рост словесности за счет других творческих функций расстраивает весь национальный организм, пожирая душу на манер своеобразного рака.

4

Марля во рту мешала дышать (намокла, затвердела); Богдан с отвращением сплевывал коричневую дрянь: нечем прикусить газ — не хватает антагонистов. И вдруг его поразило: какой вздор, чтó ему вчерашнее собрание и все хитрые суждения... Вот, было два зуба снизу: пустота! Где они, когда потерял (ведь тут, кажется, в Нью-Иорке)? Как он шел, куда ложились тени, кем был, на что надеялся, чего ждал от следующей почты. Образумься, чудовище: где солнце сияло в ту пору, куда душа тянулась в рассрочку... Кем ты мнил себя и над чем трудился? Профуфукал. Белые пятна заполняют карту на полюсе и в джунглях, а в собственном рту неисследованные топи. «Я найду, я найду»! («я увижу, я увижу»).

«Моя челюсть уже теперь, точно найденная, через тысячелетия, в ледниках: чужая, загадочная и омертвевшая. А между тем, только я один могу еще по этим рубцам и заплатам во рту восстановить ход времени и сознания: никому другому уже не удастся!»

Зубного врача звали Нарвин и был он Богдану знаком, потому что удалил ему еще первый нью-иоркский зуб (с которым у Богдана связывалась полоса жизни чрезвычайная: потеря Франции, семьи и бурная, случайная любовь, оборвавшаяся нелепо). Как человек, когда-то удачно пообедавший в приличном, недорогом ресторане, спустя некоторое время опять направляется туда же, — совсем в другом настроении и без милых спутников, — надеясь всё же, подобно первому разу, насытиться, развлечься и отдохнуть... так Богдан снова пошел к Нарвину.

У него не ладилось с двумя зубами: один, ясно, удалить! Второй меньше докучал — попробовать залечить, оттянуть, забыть... Каким путем достигается гармония во рту, т. е. то состояние, когда не думаешь, не замечаешь своих зубов: есть ли это абсолютное состояние или тоже только привычное, субъективное, условное?.. Мысль, показавшаяся Богдану такой важной, что он даже записал ее в блокнот: чего не делал уже

давно. «Так называемая гармония в природе, красота искусства, может быть, на самом деле только привычное, знакомое сочетание с детства. Больше ничего. Приучив ребенка к другим краскам заката и даже к отвратительным запахам, можно взрастить в нем противоположные идеалы и абсолюты».

Нарвин — старинный беженец из Петербурга; не в пример Шумахеру любил поговорить на высокие темы: религия, политика, вегетерьянство! Смачно декламировал: пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, но ты, доволен ты, взыскательный художник. Было ясно, что Нарвин отнюдь не смутится, если судьба его забросит в Ватикан или к французским художникам, испанским торреадорам, шведским массажистам, русским теософам или шотландским пэрам. Богдана всегда трогала эта черта в русском человеке: вера, что по существу он в состоянии поддержать любой разговор и не осрамиться в любом обществе.

— Выставить, выдернуть, — решил Нарвин, ткнув инструментом.

До какого-то времени дантисты в жизни Богдана еще лечили его зубы, только изредка удаляя их; но с недавних пор всё перевернулось: склонялись только к высшей мере! (Правда, Нарвин нашел сзади в зубе мудрости пятнышко и обещал заштукатурить).

— Надо почистить грязь, снять камень, тогда десны начнут дышать. Для вас двадцать пять долларов.

Впрыснул двумя приемами новокаин: сразу одеревенела щека и край губ; пока Богдан ждал, прислушиваясь к набуханию во рту, дантист принес ему карточку с нарисованным черепом. Богдан сидел с открытым ртом и вытаращенными глазами, а Нарвин объяснял куда вписать имя, фамилию, адрес, телефон и сколько аванса пациент собирается сегодня оставить. («Десять долларов»).

Досадно, что неизбежные мелочи отвлекают человека. Богдану есть о чем серьезно подумать. В тот год многое сбежалось в один узел и жизнь от этого выглядела напряженной, богатой. Богдана, вдруг, поманили успехом на службе и эта

живая приманка американской карьеры, денег, чести его прельстила. Он недавно разделался со своим романом «Святой Скорпион», в который вложил всё, что знал: в пору работы, ему казалось, что плотность многих страниц выдержит натиск целого столетия. А между тем, если не считать двух-трех мелкотравчатых отзывов в либеральной прессе, книга его прошла незамеченной (как полагается в эмиграции). Только личные знакомые, при встрече, обменивались замечаниями, которые при желании можно было счесть лестными. «Забавно, забавно, ничего не скажешь... Я и не знала, что у вас такое воображение... Кстати, вы читали такого советского писателя Афронькина, его расстреляли»... Засим разговор переходил на более важные темы: введет ли Сталин демократический режим, были ли элементы Октября уже в русском Феврале?

Вот тогда-то началось увлекательное продвижение Богдана по службе, казалось, освобождающее его от уездного, космического хора эмигрантских лягушек. Но успех совсем не автоматичен: надо бороться, защищать разные мероприятия, писать проекты, отбиваясь от наскоков провинциальных и тоже глупых американских лягушек, имеющих творческие поползновения и, главное, желающих улучшить свое положение на земле.

Для Богдана, воспитанного отчасти в интеллигентской традиции обязательной жертвы ради туманных отвлеченностей, этот новый стимул, — карьера, — казался принадлежностью детской игры, не лишенной, впрочем, азарта.

Свое пребывание в США Богдан рассматривал как временное, трагическое недоразумение; Гитлеру, кроме общего счета омерзительных извращений, он предъявлял еще свой, бытовой: конец жизни в центре Монпарнасса, вынужденный отъезд в страну чужой культуры.

В таком состоянии духа Богдану приходилось сражаться с табуном молодых джентльменов, выросших в традициях, не совсем понятных — личной *opportunity* и погони за *happiness*.

Богдан родился и получил первую зарядку в тех суровых краях, в те наивные времена, когда полагали, что работнику на

любом поприще достаточно иметь соответствующие квалификации и добросовестно выполнять свои обязанности, чтобы числиться хорошим и желанным сотрудником: человека судили по его продукции. Демократически-плебейское измерение: *How to make friends and influence people,* — отсутствовало. Даже можно было себе позволить феодальную роскошь — на манер Суворова пропеть петухом (один славный доктор требовал, чтобы завешивали все зеркала в доме, куда он приходил с визитом).

Вопрос о карьере, деньгах не ставился столь обнаженно для духовных предков Богдана: даже стыдно заикнуться! В старой России люди *comme il faut* бросали бомбы, свергали генерал-губернаторов, награждались тюрьмами и ссылками.

Потом война, революция; спите, орлы боевые — вы жертвою пали... Из Севастополя Богдан, подростком, отплыл под зимним, сквозным ветром — как в бреду! (Простуда, насморк, кашель: два дня пролежал в трюме). Когда вышел на палубу у Босфора стал свидетелем чуда: тепло, оливки, лето.

Константинополь; Тунис. Гомерический прыжок через Средиземное море в Париж. Сорбонна, первые стихи, Национальная Библиотека, Мазарин, сосиски с *pommes frites,* экзамены весною и сирень, сирень и нужда, дыры в носках и опять стишок, первые рассказы и роман, изданный на правах рукописи — ракета, потухшая между землею и другим небесным телом, быть может, навеки обреченная вращаться в эфире и даже положить начало грядущего химического или биологического процесса (но Богдан об этом не узнает)... Потомки небоплаватели разглядят этот мотающийся в пространстве комок творческой энергии и отсигнализируют в космическую полицию: покойный не был чужд!..

Нет, бить надо в центр, по существу! *Opportunity,* деньги, что о тебе скажут налогоплательщики — это для эскимосов, папуасов, обреченных душ. Следует осознать и закрепить каждый этап горя, счастья, роста. И один час этого земного времени, если его пьет щедрая, молодая, зоркая, пьяная от рождения душа, требует всей жизни для дальнейшего осмысления.

«Василий Семеныч, — спрашивает в 1918 году Богдан преподавателя арифметики, поднимая руку (и подмышка форменой курточки уже распорота по шву): — Василий Семеныч, сколько измерений у времени?»

Никто его не подготавливал к *opportunity*. Вопрос о карьере впервые реально возник у Богдана уже в Новом Свете, куда его зашвырнуло конвульсиями тысячелетнего Рейха. И даже в Нью-Йорке Богдан не сразу понял происшедшую в мире перемену: зря тратил силы, время — воистину деньги! Но прямолинейная действительность острыми шипами преподала страшный урок. Отныне работа, способность, искусство, честность, трудолюбие, вкус не играют решающей роли. (Это второстепенные качества).

Настоящий критерий: популярность, шарм, умение ладить с людьми, не раздражать их, улаживать конфликты, а не множить, авторитет — основанный в первую очередь на росте, костюме, манерах, красноречии. Не борьба с материей, с гипсом, камнем, словами, красками, формулами, в честной потуге вырвать из мрака осознанную кривую, образ, закон... Нет: борьба с интригами, сослуживцами, сплетнями, наветами, подножками, поножевщина, хитрая, тихая, прилизанная. И если что-то строить, улучшать, то в сотрудничестве с анонимным хором застрахованных чиновников. Современный гений подвизается, главным образом, на административном поприще. Век посредников, составителей планов, бюрократов, полицейских, экзекутивов; роль изобретателей, творцов нынче второстепенная и сравнительно мало вознаграждаемая.

В разгар войны, благодаря мобилизации, в тылу освобождается множество гражданских мест; так Богдан попал в одно крупное издательство, где, несмотря на европейское образование и уважение к творчеству, несмотря на самостоятельность, упрямство, хороший вкус и презрение к рентабельности, всё же быстро продвинулся вперед. Среди разнообразных изданий его фирмы имелся журнальчик, влачивший жалкое существование, хотя по содержанию он почти не отличался от других тетрадей, пользовавшихся завидным успехом на аме-

риканском рынке. Богдан только что закончил поэму «Мадрид-Париж», где сопоставлял судьбы двух столиц и теперь чувствовал потребность отдохнуть или, вернее, по трехпольной системе, потрудиться на совершенно другой ниве. (Так, между двумя книгами, он изобрел машинку для автоматического раскладывания пасьянса). Осмотревшись, Богдан предложил изменить обложку ежемесячника: вместо стереотипной, примитивной, давать в каждом номере портрет какого-нибудь живого, интересного лица. После на редкость острой и бурной борьбы, его революционную мысль одобрили и первый выпуск с фотографией прекрасной дамы, лукаво и таинственно улыбающейся, сразу разошелся удесятеренным тиражем.

Богдан продвинулся на оклад главного секретаря (600). Фортуна, можно выразиться, повернулась, наконец, надлежащим концом и Богдан счел себя удовлетворенным. Впрочем, ненадолго: в течение года, Богдан несколько раз объяснял ответственным директорам (все торговцы, а от добра добра не ищут), что в его планы вовсе не входило давать иллюстрации исключительно дам и девиц. Нет! Можно показать и слонов, и мужчин, и детей и памятники искусства. Именно на этом пункте Богдан благополучно вскоре сломал себе шею (к вящему удовольствию демократической молодежи). Впрочем, победа в Европе к этому времени была уже обеспечена и много испытанных канцеляристов возвращались к своим конторским упражнениям. (Богдана перевели назад в экспедицию).

5

Непосредственным шефом Богдана являлся некто Лерой, человек выше среднего возраста, кончивший Иель, когда приличному американцу полагалось кончать Иель. Наивный допотопный эгоист, шумный холостяк со вставными зубами: помесь грансеньёра с коммивояжёром. Гуманист, торгующий всякими вещами, имеющими спрос, и знающий, что на рынке всё позволено. Облик и ужимки джентльмена, а дело творимое почти бесчестное: единственный критерий — рентабельность.

Если вопрос и ставился изредка о качестве, то имелось в виду качество отчетности, упаковки, бумаги, рекламы, организации, но отнюдь не существа продукта. Ибо то, что хорошо, то продается или, вернее, то, что нравится шестидесяти миллионам американцев, не может оказаться мусором. Здесь святые Палестины и Лерой современный крестоносец, освобождающий и стерегущий гроб Господень. К этому примешивалась еще капля спортивности. Жизнь — состязание между сверстниками одного выпуска; пункты это деньги, деньги это пункты. Да, пожалуй, условность, но помогающая вести состязание и выбирать победителя.

Как в большинстве американских издательств, во главе этой фирмы стояли люди не творческого, писательского опыта, а проделавшие административную и рекламную карьеру (начавшие службу в магазине, в экспедиции, на складе). Считалось: если сотрудник умеет хорошо сбывать книги или журналы, то именно он-то и знает какие книги и журналы следует печатать. Товар, который легко раскупается, хороший товар, а фолианты, залеживающиеся на полках, — плохое и вредное явление. «Потребитель, вот кто устанавливает ценность продукта! И он всегда прав». Из этих администраторов многие, во время войны, ушли в отдел пропаганды; предполагалось, что если человек умел внушать шестидесяти миллионам американцев что покупать, то ему удастся убедить земляков Геббельса (а потом Сталина) в чем обязанности, наконец — выгоды, семьянина и налогоплательщика.

Лерой был одним из таких удачных продавцев книг и агентов рекламы; трагизм его положения только усугублялся тем, что был он, хотя ограничен, но преимущественно честен, а в молодости получил отменное образование (даже прочитал пяток классических произведений в оригинале). Наделенный от природы некоторыми творческими иллюзиями, он, — владея французским языком, — в свободные вечера регулярно переводил очередной занимательный роман; потом издавал и как жертва разводил руками, когда публика не оценивала по достоинству его находок. Благодаря положению и влиянию Лероя,

Book of the Month клубы изредка выбирали его упражнения для своих сирот, что вполне оправдывало всю авантюру в глазах других директоров. (Они даже искренне почитали Лероя знатоком европейской литературы).

Этот джентльмен занимал огромный кабинет с видом на Ист Ривер и дальше — *Welfare Island;* в углу этого современного храма, за ширмою и потому с вечной электрической лампою, ютился Богдан, главный помощник Лероя по журналу «Вся Правда». Анекдот заключался в том, что если бы случайно Богдан остался и выжил в стране восходящего социализма, то, вероятно, сотрудничал бы в «Правде».

Удачная карьера (как женитьба) принесла Богдану желанные волнения и пряности; но вскоре острота романа иссякла, воцарилась рутина и вооруженная скука. И после трех лет полезной литературной деятельности Богдан так возненавидел свободных, павших и бессмертных покупателей, на которых будто бы трудился, что жизнь его без диктатур и доктрин тоже потеряла смак и смысл.

Кроме того, близость к Лерою делала его свидетелем и даже соучастником интимных процессов стареющего организма. Основное место в жизни этого веселого, ограниченного и самоуверенного, буйного холостяка занимал телефон. По телефону, разумеется, завершались разные фазы почти всех дел; но по телефону также производились частные заказы и улаживались домашние недоразумения. По телефону, наконец, завязывались, развивались, тянулись и рвались сексуальные отношения. Богдан был плененным свидетелем этой злой сатиры на кипучую деятельность: творчество, мудрые распоряжения, — шутки, лесть, блеф, реклама, — домашние мероприятия и, в перемешку, воркования, располагающие к оргазму или убийству.

У Лероя в обращении всегда несколько пышных, однообразных блондинок; сообразно каким-то глубоким и загадочным требованиям сердца, он приглашал то одну, то вторую, то третью на завтрак, обед, в театр, на *weekend* к себе на остров.

Ибо это творение Божие, как и все, имело в своей жизни некий решающий секрет... Остров!

К одним смертным Лерой поворачивался ликом блестящего организатора, торговца; другим он подставлял профиль редактора, переводчика, шармера, гуманиста; третьи видели в нем гурмана, сибарита, старого волка с острыми искусственными зубами, потребляющего сырые бифштексы и шотландское виски. Но Богдан понимал, что ключ к жизни Лероя — остров. Каменистый бугор, покрытый зернистым песком, в виду Лонг Айленда, без растений, деревьев, травы, но отделенный от материка, от мира простых обывателей. Остров Санчо Панчо, где Лерой волен казнить и миловать рыб, насекомых, крабов, блондинок, а иногда мальчиков.

Но остров надо постоянно налаживать: после очередных ураганов отстроиться, организовать транспорт, воздвигнуть новую кабину у самой воды, починить пристань, привести в порядок моторную лодку, яхточку, протянуть электрический кабель. Доконала его канализационная система: тут Лерой наткнулся на особого рода технические трудности (может быть, поэтому ему остров достался так дешево)... Никак не удавалось отвести в море то, что джентльмены и блондинки выбрасывали; кроме того, с плебейских пляжей на «большой земле» наносило — мусор, скорлупу, окурки тоннами! Беседы с мастерами ванн, газа, уборных и газонов занимали весь досуг от марта до середины октября; зимой жизнерадостный холостяк даже мысленно эвакуировал остров и сосредотачивался на литературе и ночных кабачках.

По началу Богдан проникся уважением и даже завистью к американцам, выпестовавшим такой тип активного человека: продукт скрещения культур Нового Света, представитель высшего сословия в демократии, делец, читающий Гомера и клинопись биржи... лангусты, Библия и паруса! Тут покупка сырья, производство и продажа с упаковкою превращается в творческий акт. Одновременно архитектура и психиатрия. Раньше составляют план, чертежи, сметы, обследуют потребителя, выясняют коэффициент заинтересованности, привлека-

тельности (если возможно, меняют пропагандою знаки в свою пользу). Потом экскаваторами выгрызают землю, кладут фундамент, льют бетон, проводят трубы и кабели — вот приступают к производству, с явной выгодой и пользою для всех. Чего желать лучшего? Ведь за год они издают несколько десятков сносных, переплетенных книг и пяток иллюстрированных журналов. Много чуши, повторений, бесвкусицы... Антология: «Письма матери к сыну в мировой литературе», а в следующий сезон — «Письма сына к отцу в классических произведениях»... Но всё же, попадаются труды, радующие сердце при любых обстоятельствах. Кое-что, вероятно, уцелеет и переживет столетие. Молодцы. Сами живут, как им нравится и другим не мешают. И это современники немцев, Сталина, рычи-Китая, холодеющей бабочки-Европы! *Glory, glory, alleluia.*

Но когда он пригляделся пристальнее к Лерою и понаторел над его вульгарными проектами, Богдан почувствовал нестерпимую скуку. Пустота, тщеславие, разврат, тупость (возводимая даже в качество — поскольку она приносит дивиденд), рутина, лень, трусость (перед общественным мнением), виски и гольф, лицемерие, эгоизм, только усугубляемые заплатанными цитатами из Сенеки и Шекспира.

Приблизительно в ту пору и Лерой изменил свое отношение к привередливому помощнику. Вместо прежнего доверчиво покровительственного оскала фарфоровых зубов, начала проглядывать нетерпеливая враждебность удачного, но стареющего самца к неудачному, но полному вирильных сил вероятному сопернику. Богдан догадывался, что скоро придется подавать в отставку (значит, опять начинать с 200 в конторе). Но другой развязки не предвиделось; он уже ненавидел этот спокойно пошлый, ложно либеральный тон, шуточки, слюнку и убежденную агрессивность Лероя — всё, что он раньше принимал за выражение оригинальности и деловитости, достойной подражания.

В сотый раз, как многие эмигранты его призыва, Богдан задавал себе простой вопрос: — Почему я здесь остаюсь?

И почти все мыслимые ответы: — Куда же деваться... хо-

рошая страна, добрые люди, отличные условия работы... — хотя и справедливые, не удовлетворяли.

Было еще одно ядовитое соображение, возникавшее в самые тяжелые минуты: «Стоило показать Сталину кукиш (который бы меня, вероятно, поставил на место, примерно, дивизионного командира)... стоило бежать с опасностью для жизни от Гитлера, который мне предлагал на первых порах выгодно разбазаривать Францию — чтобы вот теперь надрываться для этого бездарного пылесоса, несносного шалуна, под которого уже ничто, кроме долларов, не потечет (да и последние продолжают свой бег только по инерции)».

6

Вот при каких обстоятельствах, в самый разгар служебного кризиса, Богдан попал опять к Нарвину. Пульсировала горячая десна, дергалась щека, но за всем этим, однако, другая боль, иной страх: жизни, бытия, ускользающего смысла. «Ну, что я здесь делаю?» — спрашивал он себя по установившейся традиции, как тридцать пять лет тому назад в древнем порту Константинополя или Бизерты, в Марселе, Париже, Валенции — под визг арабской конницы — снова в Париже, в Казабланке, на Азорах, на Кубе и, наконец, в виду крошащегося от неподвижного, парного зноя Нью-Иорка. (Американские солдатики, попав во время войны на острова Океании, неизменно задавали себе тот же вопрос: «что мы здесь делаем? почему здесь очутились?»). И ответ напрашивался один: — Тут жить еще можно, хотя тошно, а там уже немыслимо.

Нарвин ловко извлек больной зуб; затем занялся другим, погибшим, хотя еще не воспаленным: «Поверьте доке в этом деле, самое верное — удалить!» И вдруг заговорил о вегетерьянстве. Оказывается, Нарвин запомнил пациента с прошлого раза и даже тему их беседы: года три тому назад, — почти сразу после приезда Богдана, — он ему вырвал первый зуб в Новом Свете.

— Я вас сразу узнал, — с достоинством, старательно,

точно чеканя фальшивые монеты, повторил Нарвин, с трудом раскрывая и закрывая кривой, заставленный крупным золотом, рот: — Неловко навязываться, может, вы не желаете вести знакомство, — мудро растягивая тоненькие брови, печатал ртом дантист. — Однако, вы очень постарели.

— Сэр, разве можно такие вещи говорить, — кисло пошутил Богдан: он сомневался зовут ли дантиста доктором, а имени-отчества не помнил. Ему страх как не хотелось обмениваться мнениями, но было ясно, что Нарвин его не выпустит легко из тисков.

— Ну, не постарели, а возмужали, остепенились, присмирели, — старательно фабриковали кривые губы.

Присмирел! Вот оно. Еще бы!.. Когда Богдан в первый раз обратился к Нарвину, его мотало в центре любовного шторма, куда он попал так же случайно и незаслуженно, как парусная лодка, вышедшая из бухты на послеобеденную прогулку и захваченная внезапно для нее налетевшим ураганом. (Несмотря на внутреннюю и внешнюю неподготовленность, приходится делать то же, что и экипажу других судов, идущих в дальнее плавание и рассчитывавших на непогоду).

Этот любовный вихрь не только давал ему чудесные силы, увеличивавшиеся от растраты, преображавшие плоть, убивавшие боль, грусть, усталость, но еще открывал глухие затоны, подводные ямы, освещенные черным солнцем пещеры в райских дебрях его живой души. Он был тогда счастлив и знал постоянно цель своего существования, знал так хорошо, что даже не думал об этом. Заботы сводились к мелочам и форма не отрывалась больше от содержания. Увидит он сегодня, скоро, ее... Если не сегодня, значит, завтра. Душа раздувалась в огромный шар — океан вливался в каплю и крыло жизни простиралось в другое измерение. Звуки, сияние, запахи, вибрации, оттуда распространяющиеся, свидетельствовали о вечной удаче, о конце умирания. Даже зубная боль, не исчезая, теряла остроту — покоилась, где-то рядом, сбоку, совсем не злая (а вслед за этим, время, старость, суд и казнь тоже претерпевали зрительно-осязательные изменения).

Нарвин почитал себя усиленно православным и не признавал московской, чекистской юрисдикции: любил поболтать об этом с русским клиентом. Долголетний опыт научил его простой истине, что бор-машина побуждает к терпимости и соглашательству — и он этим пользовался!

Нарвин ухитрялся и в эмиграции питаться исключительно корнями бытового православия: за год раз пять ходил в церковь, Рождество праздновал по старому стилю, весною говел, а Пасху без поросенка воспринимал как ересь. Некоторые изгнанники, чтобы окончательно не опуститься, привязали себя крепко к русской березке, к цыганскому романсу или к Достоевскому (Алеша Карамазов); вот Нарвин для этой роли почему то избрал себе кутью! (В последний раз он ее ел на Дальнем Востоке, после разгрома Колчака).

Нарвин, как полагается, ненавидел Толстого и не пропускал случая отпечатать: — Помилуйте, ведь это же, если не ошибаюсь, преступление против Святого Духа... И Богдан, неожиданно для себя, дожидаясь действия наркоза, спросил почитателя генерала Краснова:

— Неужели вы думаете, что у Бога действительно две руки и кто-то сидит одесную, а чином пониже ошуюю?

И как только он это произнес, точно вспышка магния осветила зажоры и размоины его души — вероятно, давнего происхождения! (Так сознание отстает от контура действительности и человек имеет дело с двумя реальностями). «Ведь еще недавно я во всё это почти буквально верил: в пику дуракам и умникам. Я, повидимому, перевалил еще один рубеж, даже не заметив того». Богдан, в течение всей жизни возвращался к игре, которая его забавляла и притягивала еще в отрочестве. Раз пять за последние тридцать лет он начинал составлять новую эпитафию на своем памятнике — с кратким перечислением важнейших фактов душевного порядка. У Пушкина, после убийства Ленского, «горожанка молодая, в деревне лето провождая», натыкается на могилу юноши и «глазами беглыми читает прoстую надпись»... Ни один пушкинист, кажется, не заметил, что ознакомившись с п р о с т о ю надписью, горо-

жанка, отъехав, вряд ли была осведомлена в достаточной мере, чтобы мыслить:

«Что-то с Ольгой стало?
В ней сердце долго ли страдало,
Иль скоро слез прошла пора?
И где теперь ее сестра?
И где ж беглец людей и света,
Красавиц модных модный враг,
Где этот пасмурный чудак,
Убийца юного поэта?»

Вот, чтобы не конфузить зря горожанку молодую, когда она «флер от шляпы отвернув», остановится перед памятником в Нью-Джерси, Сен и Уаз или, при удаче, в Альп Маритим, теряясь в догадках, чтобы не подвергать доброе создание соблазнам воображения и моды, Богдан решил дать ей исчерпывающую, по возможности, хотя и краткую информацию. Острота игры заключалась в том, что надписи эти с каждым разом менялись, точно умирали разные люди (хотя воскреснуть должен один). Последняя эпитафия была составлена Богданом всего два года тому назад: в том же блокноте, которым он и теперь пользуется. Там адреса и телефоны казавшихся тогда живыми и нужными людей: эта пожелтевшая книжечка, — как старые календари, — чем-то напоминала кладбище.

«Здесь покоится Богдан, сын своего века. Он верил в Бога-любовь, Бога Отца и Сына и Св. Духа, но редко приобщался Таинств. Он ссорился с богатыми и сильными, но покровительствовал слабым. Припертый к стенке, он сражался как матерый волк, но при излишке становился легкомысленным и давал гадам фору. Любил мясо и алкоголь почти во всех видах и готов был разделить трапезу с ближним. Художник в осажденной крепости, писатель среди позабывших грамоту читателей, верующий без прихода, солдат без тыла и походной кухни. Он успел побывать отцом, мужем, любовником, бойцом и мучеником. Видимый мир он знал, любил и жаждал преобразить; потусторонний он разумел, как лежащий в других изме-

рениях и стремился, пока есть силы и руки, туда проникнуть. Ему мешали коммунисты, фашисты и демократы, иезуиты и масоны, дураки и подлецы, свои и чужие; и он их всех возмущал, ибо своей бессмертной, но неприятной личностью заслонял собственное дело. Он умер в лаборатории, ночью, работая сверхурочные часы без воздаяния; так часовой охраняет казенный ящик — даже пустой! Прохожий, помолись за Богдана пока над тобою не капает».

Теперь пришлось бы опять кое-что изменить, даже добавить, чтобы отгородиться от формальной терминологии. Разумеется, верил в Бога Отца, но что это значит? (Мужчина?)

А всё же, человек остается верным своему замыслу: он так же страстно защищает друзей и клеймит врагов — только последние иногда меняются местами.

В это самое время Нарвин лихо расшатывал щипцами зуб: туда-сюда, туда-сюда. Боль еще чувствовалась или вернее предполагалась: она уже не была связана с Богданом узами первого родства. Отделились, разошлись в смежные сосуды: Богдан и муки жизни. Он думал: «то, что содержится во мне и протекает чрез меня, значительно больше, величественнее, ценнее, святее, чем сам я. И если это чудо не сама Елена, то оно ближе к ней, чем к блаженному Августину. Мы с ней и Бог, и мир, и любовь, и страдание, и жизнь, и роды, и выкидыши, и смерть, и сияние, и молния из тучи, и тяжелая вода, и песок, и земля, и море, и раковины и тот необозримо темный океан, который втиснулся в сверкающую каплю, не взорвав ее. Елена и я ничто в сравнении с тем потоком, который несется сквозь нас, но совсем отделить его от нас тоже нельзя. Если такое знать, то уже академик Павлов не опасен; надо только закрепить это чувство — навсегда, не меняя!»

Да, Елена, он увидит ее вечером. Что это значит? Счастье, бессмертие, вечность, добро, потеря части и нахождение целого? Может быть! Но так же беспомощно выражено, как — «ошуюю и одесную». Содержание этой жизни абсолютно, а форма беспомощна. Благодаря присутствию Елены ежесекундно в его сукровице, все разрозненные ремни его души сбегаются

навеки к одному личному, утверждающему, непоколебимому колесу. Из этого центра узнаешь себя (не сразу!), когда просыпаешься ночью в темноте... так найдешь себя, в конце концов, когда очнешься и сядешь в гробу под раскаты архангельской трубы. Душа горит, не обжигает, только светит. Кто здесь не верит в неопалимую купину!

— Видите, это совсем не страшно, — очевидно, уже не в первый раз заявляет Нарвин. — Вот прополощите, пожалуйста.

— Да, действительно, — восхищается пациент.

«Что есть боль? — тщится понять Богдан, честно прополаскивая рот: — Граница, за которой легкое, приятное раздражение, щекотание, переходит в мучительное. Боль отличается от удовольствия только количеством? (А добро и зло?) Но порог, за которым поглаживание становится неприятным, абсолютен ли? Для всех одинаков? Или для каждого личный? То-есть начало моих зубных терзаний могло бы еще не быть таковым для соседа? Если у каждого свой порог чувствительности, то ясно, что его можно искусственно передвигать: под влиянием обстановки, вдохновения, мыслей, любви, вина, стихов, духовного напряжения! Не переносить боль стоически, а передвигать, отстранять, выкорчевывать, волею, воображением, музыкой».

— Как вы думаете, доктор, — гнусавит Богдан с ватою во рту, надеясь чему-нибудь научиться (а потом поделиться находкою с Еленой: ведь ей придется рожать). — Как вы думаете, можно ребенка так воспитать, чтобы он какое-то постоянное свое недомогание воспринимал, как норму и перестал даже замечать?

Ему было неловко говорить, да и удивленно надломленные ижицами брови Нарвина не располагали к мудрствованию — он не закончил вопроса о происхождении и сомнительности того, что называют гармонией... К тому же, если даже страдание не безусловная, абсолютная величина, то значит, и смерть...

— Вы, пожалуй, не поверите, — говорил дантист, позвя-

кивая инструментом во рту Богдана: — Мне попадались клиенты, которые даже любили бор-машину. Ничего, ничего, прополощите. Ей Богу, они по-иному реагировали. Я это особенно часто встречал почему-то у чехов. Когда-нибудь даже напишу статью «О национальном отношении к боли».

— Немыслимо, — мужественно отбивался Богдан, выплевывая кровь. — Если боль и смерть понятия расовые, то вполне законны расовые философии и религии. И любовь, — улыбнулся он неожиданно.

— А, любовь, — просиял Нарвин, точно коснулись его специальности.

7

Елена. Они познакомились в свой первый нью-иоркский год; он приплыл из Марокко, она из Лондона. Американцы только-только начинали мобилизоваться. Рассудительным буржуа немцы казались победителями (*vainqueurs partout*). Пушки гремели между Доном и Волгою; вся униженная и порабощенная, героическая молодая Европа прислушивалась к раскатам русских, христианских, советских, гуманитарных, ангельских катюш, молясь за их меткость. Богдан стряхнул свой политический плен, паралич, охвативший его в дни предоставленной собственной участи республиканской Испании; временно работал на радиостанции *OWI*, тщась, вопреки наивности властей и жадности тунеядцев из средней Европы, выполнить урок получше. (Он подал заявление в армию де-Голля и ждал ответа).

У Елены был певучий, нарядный, английский акцент; она душилась незнакомыми духами (Yardley) и даже голос ее показался Богдану — благоухающим.

— Богдан, какое звучное имя...

Был коктэйл их отдела — на Пасху 1943 г. Пили калифорнийское шампанское. Она уселась на спинку кресла и раскачивалась взад и вперед своим тонким, плоским, но выносливым телом; русые, гладкие, русские волосы, до ожесточения голубые глаза и вздернутый (ирландский) нос.

— Выбор у нас маленький? — спросила она, улыбаясь некрашенным ртом.

«Как мне жить дальше? — допытывался Богдан за минуту до этой встречи: — Воевать с гадами; я уже воевал. Демократы тоже люди. Фашисты, социалисты плохи не потому, что они фашисты или социалисты, а потому, что они только люди. То же о французах, англичанах, неграх, христианских демократах: удручают в них обывательские черты. Как мне сотрудничать с людьми в одном, даже большом, деле... Как радоваться жизни целиком, не проклиная полдня, восемь часов, сорок часов в неделю, за которые платят 75 долларов? — докучал самому себе Богдан; такое испытывает пассажир в переполненном автобусе: куда ни сунешь ногу, всё равно, проходящие спотыкаются. — Бог? Да. Но между мною и Им незаметно выросла стенка. Было время, Его дыхание обожгло лицо: осталась только эта память. Но я устал молиться стенке».

— Да, выбор небольшой, — весело согласился Богдан, поддерживая Елену: — Постель или пивная, вот и всё.

— Пойдемте отсюда.

Он взял ее за руку и повел... Такой была их последующая жизнь: им казалось, что они знают куда идут.

В те годы людьми владело одно чувство, сразу показывавшее их принадлежность, воспитание, среду... Чувство гнева, отвращения, обиды, гадливости, стихийной жажды мести. Достаточно было двух-трех полуслов, междометий, чтобы сразу найти надежных друзей, ввиду несомненных врагов.

Европейцы до сих пор еще не сообразили сколько психологического торжества, душевной радости, несет с собою обыкновенно очередная война против немцев: сомнения, колебания, распри, полутона и оттенки — исчезают! Поиски смысла, оправдание цели, расщепление волоса, анализ рефлексии, отраженной в подсознании — прочь, мимо! Какое блаженство, задача одна, проста и монументальна: гаду надо оторвать ручки да ножки! Истина, ставшая вдруг священной. Одно исповедание для христианского общества; подлинная кафолическая служба. И в этом объединяющем людском порыве, европей-

ское сердце, уставшее от оговорок и отступлений, облегченно дышит, точно нащупав искомые звенья круговой поруки.

В атмосфере десантов, казней, заложников, личная жизнь вытеснялась из текста, принимая форму примечания курсивом, благодаря чему только выигрывала в ясности и убедительности.

Женщину, ставшую женою Богдана, немцы увезли из Тулузы и, повидимому, сожгли: на пятом месяце беременности. (Где-то бродят табуны призрачных недоносков, цепляясь за ситцевый передник фрау Ильзы).

Рассказ об этом (и некоторые жгучие психологические подробности) нормально должен был бы оттолкнуть Елену от Богдана; но получилось почему-то наоборот: их швырнуло точно прибойной волною в объятия друг друга. (Захотелось примерить собственную ступню к чужим следам на мокром песке). Как и полагается в таких случаях, Елена непостижимо быстро забеременела.

Она снимала дорогую мансардную квартиру на восемнадцатом этаже: фантастическая терраса вилась вокруг ее замка из двух комнат... А внизу грозный ров — Ист Ривер. Там, на вершине, в виду таинственного острова Велфер и моста в Квинс (похожего на упраздненную тюрьму), они, с повадками средневековых грешников, провели первую американскую весну. И хотя май в Нью-Иорке без запаха сирени, без одурманенного и дурманящего соловья, без журчания вод и вибрации холодного, светлого воздуха, но всё же это оказалась великая земная весна! Воскресение в каменном мешке, гудевшем от поездов и машин, от пронзительных, отравленных вихрей, от оглушительных и кратких тропических ливней, с мгновенным перекатом к истомной, мглистой, экваториальной, неподвижной, донной жаре (когда солнца не видно и зной бьет прямо с неба — отчего потеешь в самых неповадных местах). И любовь шествовала, как первая, вторая, как всегдашняя, книжная, романтическая (даже в классические века), преображающая и вдохновляющая христиан, язычников и атеистов, тотальная, единая и безвременная: косая форточка в эсхатологию. И что

Богдану в таком состоянии зубная боль... Большой коренной, еще один, подумаешь!

Елена забеременела и в этом им померещился лик чуда (насыщенного парами символизма). А к осени, мужа ее воинственные лодыри подобрали в дебрях Камбоджи и больного обязательной для тех широт лихорадкой (как нервная горячка в романах Достоевского) привезли конвоем в родную Англию. Сплошной эпос. Елена сочла справедливым вернуться к мужу; она родила бледную девочку, о чем протелеграфировала в Нью-Йорк.

Нет, в то лето, отправляясь к дантисту, Богдан не боялся иглы. Наоборот, его радовало: личные страдания сближают его с роженицами, солдатами, пленными, детьми в лагерях и печках. «Это не всё, — думалось ему: — Когда-нибудь мы тоже пройдем через Геркулесовы Столпы в Маре Тенебрум и догоним другие потрепанные суденышки, что дает нам пока право думать, курить, радоваться дню и ночи, приливу и отливу, огню, воздуху, любви». Так что потом, в кресле Шумахера, Богдан ерзал и томился от двойной муки: конечно, зуб, кость... Но еще: он завидовал себе в прошлом — исчезнувшему, растаявшему. Всё так постепенно, незаметно изменилось. Даже чувство, с которым входишь к дантисту. Отныне платишь самые нетерпящие отлагательства долги. А бывало, щедрая душа через каждую потерю оснащалась к новому плаванию. И росла.

8

В последний раз Богдан удалял зуб с чувством определенного, творческого задания еще в предвоенном Париже. «Вот вырву и опять будет хорошо. Как прежде, даже лучше: ибо опыт духовный, физический прибавится». А опыту цена — жизнь! Богдан тогда знал: всё, что он делает — к зрелости, к вящему обогащению, расцвету его личности. И до поры до времени это было верно. Сперва герой отважно взбирается на вершину своей крутой горки: каждый шаг расширяет что-то в нем и кругом. А потом начинается спуск, сперва легкий, по-

логий... Тогда уже, вопреки стараниям и предосторожностям, всё оказывается только сворачиванием и обеднением (излишний опыт, пожалуй, охолащивает).

Посередине торчал этот зуб в Бордо, точно перевал в Гималаях — дымное лето 1940 г., когда он походя убил немца.

Богдан и Олимпия оставили Париж 12-го июня (экзаменационный месяц); немцы были уже у застав. Город Света лежал открытый, холодеющий, как дама с камелиями в последнем акте. Было чувство: опять всё позволено! (Как в ту ночь у Севастополя, когда Леня украл у казака одеяло. «Теперь оставь, Богдан, теперь мы на чужбине!» — крикнул он гимназическим басом и швырнул ненужное одеяло за борт истребителя, где ходила и переваливалась непонятная русской природе стихия). И вот уже теперь на втором рубеже Европы выбиты двери и окна, сквозят вихри — очередное подобие изгнания из рая. Библейский ветер налетел сверху и смерчом поднял одушевленный скарб, бегущих, ошеломленных, смятых горожан. Дорога загорожена извивающимся туловищем с оторванной головой; костная масса и отбросы забивают проходы, мешая самим себе. Дети, матери, старики, непропорциональные чемоданы, непропорциональное честолюбие, непропорциональная мораль. Проказа, гром Синая, овен, запутавшийся в чаще рогами, уведите из стана менструирующих женщин, на Луаре взорван мост и воды расступились. Низко заходят Мессершмитты, пугают стадо автомобилей оглушительным шумом, бомб не кидают, иногда, из озорства, поливают бессмертную толпу пулеметной струей. А рядом, еще выше, совсем в другом плане, небесная галльская голубизна и блеск одинаково доступный уху, носу и глазу, прикосновенный местам, не указанным в географическом атласе.

Ночью таинственные фары близоруко щупали дорогу, которая уже никуда не вела; беженцы отдельными большими семьями, — племенами, — лежали там, где их застали сумерки. У железнодорожного полустанка застрял поезд; спрут осемью ногами присосался к составу, но паровоз неожиданно отряхнулся и ушел в темноту по запасному пути. Пустые эшелоны

героически мчались на Париж и их освещенные окна в степи казались метафизическим пунктиром.

Богдан вел отбитую в дороге и починенную им каретку скорой помощи. Бензин отпускали даром у колонок: уничтожать у французов нехватало воли. (Во времена Цезаря, Верценгеторикса и каролингов, отступая, они сжигали урожай). Рядом с ним дремала Олимпия; сзади приютилась семья Сэн-Клэров, подобранная в пути. Они продирались тропами и проселками. Богдану, в расцвете тридцати трех лет казалось, что нет силы, способной его сломить. Этот избыток священной мощи делал его непомерно щедрым для Европы тех дней — он позволял себе роскошь жалости к ближнему.

Впрочем, присутствие Олимпии, тоже, вероятно, — без слов! — подталкивало его к относительному добру и состраданию. Ее коричневые глаза с густыми ресницами были похожи на гордых зверей в клетках зоологического парка. Жар ее цыганских зрачков, беспрестанно дышащих, — раздуваясь, опадая, — отражал иное пламя, видное только ей: пламя топок крупповских печей, в котороых ей суждено было вскоре истлеть. (Узколобому Богдану мерещилось — это прошлое: огни Университетского городка под Мадридом, хота и песни в Барселоне). Безропотная жертва, чистый барашек, преображающийся только под звон кастаньет, она искупила его буйство и силу, похоть, гнев, эгоизм тех дней (когда десять миллионов штатских метались по дорогам Франции, точно в западне).

От Сены через Пуатье до Бордо; потом Байонна, рыжая полоса Ируна и снова поворот: По, Тарб, Тулуза, Монпелье... В продолжении одной недели, захлестнувшей на манер Ниагары; без денег, без полноценных бумаг, подчиняясь верному инстинкту: не поддаться тупому, рыхлому, бездарному, истерическому, биологически неудачному, немецкому чурбану в сапогах и каске.

У Луары наполовину сорван мост, но по бревнам перейти можно; Богдан пробрался к солдату, стоявшему на часах, и

сразу в его улыбке почувствовал — неладное, трудно выразимое.

— Нет, приказано не пропускать. Ты думаешь мне приятно, *je fais mon devoir!*

Он говорил с сильным и неприятным «р», взгляд белесый, убегающий, наглый: — Я эльзасец, — подтвердил он.

Богдан с наслаждением ударил его ногой в живот, потом кулаком, поднял и вместе с ружьем швырнул в Луару. Провел Олимпию, а затем всю семью Сэн-Клэров на тот берег: старуха-мать, мальчик-подросток, три взрослые сестры и муж старшей: тучный беспомощный композитор, еврей, который уже несколько раз всхлипывал и вяло заявлял, что такой ценой, пожалуй, не стоит продолжать существование.

Эта переправа через священную реку (на севере зарево — там горят склады с припасами, нефтью), орды беженцев на шоссе, песьи глаза трех французских сестер, ревнующая его к жизни Олимпия, с обновленной щедростью открывающая ему грудь на каждом привале. Развал Парижа, Галлии, Франции, Европы, всего старого, симметрично-атомного, трехмерного, уютного мира, опрокинутого немецким кретином на собственную голову (опять впавшим в шизофрению и нуждающимся в лечении шоком)... Это зарево над западным краем земли по-настоящему несло с собою начало небывалого праздника, вакационного перерыва после трудного, школьного века, отпущения всех грехов, прощения всех неудовлетворительных баллов, великое и стихийное равенство народного бедствия.

В празднике заманчиво освобождение от пут долга и обязанностей, человек отрывается на время от рутины, останавливает поток привычных занятий, пускается в неизвестное, невыгодное, иррациональное. Нечто подобное свойственно и стихийным катастрофам: конец трафарета, прыжок в фантастическое, пьяное, фосфорическое — из Аполлона к Дионису. Этот хмель, очевидно, дает народам силы переживать острые фазы своего падения.

Ночевали в Пуатье 16-го июня; весь север, вплоть до Нидерландов, выхлеснут из родных берегов и катится к Сре-

диземному морю. Историки не могут понять, каким образом в девятом веке детки вдруг спонтанейно собрались и пустились освобождать гроб Господень! Но кто объяснит, зачем десяток миллионов тихих консьержей с узлами, пуделями и драгоценными шкатулками оставили родные кварталы и побрели неизвестно куда... Недаром английский король в тот день по телеграфу выразил сочувствие французской нации, застигнутой ночью на дороге.

Вдоль шоссе — на юг — двигался неудержимый обоз насекомых с кладью, детьми и молитвами: великий французский плебс пятнадцати-вековой крепости. В темноте слышен однообразный гомон, шорох, треск новозаветной саранчи. Вокзал в Пуатье на запоре и ощетинился солдатами. «Уходите, возвращайтесь назад, поездов не будет, только военные эшелоны!» — официальная версия. Прошлепала, улепетывая от немцев, цепочка миниатюрных танков, действовавших, вероятно, с переменных успехом в 1918 г. под Одессою.

Богдан и Олимпия подхватили за руки старуху Сэн-Клэр и порою неся ее, сопровождаемые всей семьею, побежали огородами, — через два плетня, — к провинциальному железнодорожному полотну. Марокканец, сверкая в сумерках зубами и коротким ножом, примкнутым к винтовке, преградил путь. Богдан похлопал его по животу, достал из кармана серебряную монету в 20 франков, подкинул ее несколько раз в воздух и заразительно улыбаясь, вручил арабу... У платформы стоял темный эшелон; в теплушках ночь, сон: чувствовалось — переполнены. Из щелей торчит российская солома, доносится теплый храп, кислая отрыжка, шопот (молитвы), урчание (верблюдов)... Вот она, полупустая, знакомая теплушка: пять человек рядовых пошли в город запасаться вином. Пролезли по соломе, под веселый, почти владимирский говорок солдат, возбужденных сознанием, что почему-то их случайно вывозят из бойни, из плена (и довольных заполучить в свой вагон несколько «парижанок»).

Состав тронулся без сигнала — бойцы, ушедшие за вином, сгинули, быть может, навсегда. Пахло сосновой доской,

онучами; снизу по-русски стучали колеса: та-та-та, ту-ту-ту, то-то-то. (Кто «та»? Которую «ту»? Что «то»? Вот именно: то-то и то — самое главное!)

В наполовину отодвинутую чудовищную дверь видны непреложные, похожие на цветы, созвездья. Фантастическая ночь и всё-таки какая знакомая и по-своему желанная. Путивль, плач Ярославны, Минин и Пожарский или молитва Орлеанской девы, Роланд, мавры в Пиренеях, осада Рима, очередной бич Божий, спрячьте все сокровища храма, Иеремия варит похлебку, пахнет ногами беженцев.

Олимпия прижималась к нему с новой вспышкой страсти, точно каждый километр, приближая поезд к Испании, возвращал их на прежние психологические позиции. В самый разгар смены эонов, когда своды, вчера еще такие крепкие, вдруг обвалились, потолок рухнул, стены, объятые горящей лавою, ушли под воду и на небе, среди звездных роз, протянулись стожары трассирующих пуль, Богдан, прижимая к груди помолодевшее от страха лицо Олимпии, решал: ведь то, что я переживаю теперь и есть счастье! В барской гостиной или в монмартрском кабачке оно не было бы полнее.

Вот приблизительно в это мгновение, словно доказывая еще большую многосторонность земных возможностей, у Богдана, вдруг, задергало, защемило, укололо в коренном зубе. Пронзительная боль ударила только на минуту, две, но успела затемнить, стереть ощущение недавнего блаженства: не уничтожить совсем, а только превратить в смутно различаемый, бесформенный полюс (так, выключив свет, знаешь, что где-то рядом часы: ведь тикают... но образ недоступен). Богдан пробовал себя утешать в разгар мерзкой боли: «вот теперь мука, но раньше я блаженствовал — одно покрывает другое, вознаграждает». Но ему было ясно: самообман! Радость, счастье, расцвет, весна, любовь, Олимпия, творчество не имеют ничего общего с переломом костей, нарывом в кишках, сорокаградусным морозом, пыткою, гвоздями под ногтем, допросом, позором, подлостью, глупостью, удушием, агонией; хотя всё это и стоит рядом, но совсем не встречается друг с другом, как

волны света и звука не пересекаются — и стало быть, не могут дополнять, уравновешивать себя. Это два уравнения, написанные по соседству, с совершенно разными неизвестными — разрешение одного не дает ключа к второму: они в иных мирах. Две половинки от разных шаров, наскоро склеенные в одно целое, по непонятным соображениям.

Забыв, что поклялся больше не уделять внимания своим мыслям, пока их некуда записывать (его восемнадцать блокнотов, плод незаметного труда двадцати лет, остались в парижском отеле), Богдан, вдохновенно морщась от боли всё же старался освоить, оформить новый опыт.

Олимпия мудрым чутьем шла по тому же пути: несмотря на его гримасы и зачаточные стоны, продолжала тихо ласкать, веря в силу и прочность тепла! Пусть вода заливает костер: постараемся спрятать один уголек.

9

Они приплелись в Бордо только к вечеру следующего дня. Не располагая всеми нужными документами и пропусками, Богдан, на всякий случай, счел благоразумным (вместе с остальными своими спутниками) спрыгнуть на окраине с застопорившего поезда и пересечь город на будничном трамвае.

Цыганский табор, Севастополь, падение Рима и Константинополя, пожар Москвы, похабный мир, Брест-Литовск. Каждый народ побеждает по своему и величие его — особенное: но в падении и поражении все племена подражают друг другу.

В канале стоял пароход, на котором собирались бежать в Марокко правительственные чиновники: по мосткам сплошным током в обе стороны рыскали подозрительные, спекулятивные силуэты. Рядом, у трамвайной остановки с феодальным упорством дежурили беженцы, обремененные узлами и тюками. Город, куда еще с начала с м е ш н о й войны переселилось правительство, запружен, раздут, как страдающая запором кишка: а с севера пихают всё новые куски слоеного теста.

Старые переселенцы, администраторы, дельцы с ужасом и сомнением смотрят на вновь прибывших, которым ничего, кро-

ме жизни, спасать не хочется. Аборигены ненавидят, — без различия: — всех чужих, оскверняющих священную землю родных Ланд.

Трамвай переполнен; тут австриец, который уже дважды чудесным образом спасался от пивного Магомета; польский еврей, потерявший счет милостям Божьим, группа подростков из эвакуированной фабрики под Севром, мужик фламандец с женою до того пропотевшей, что дух захватывало, и жгучая дама, ароматная, случайно попавшая со своим кавалером, красавцем-южанином, морским офицером, в эту компанию (от них пахло полом, адюльтером, трюфелями): запах двух этих женщин существовал одновременно, не смешиваясь и не противоборствуя — как боль и наслаждение!.. Еще десяток туземцев, проделывавших этот путь по личным делишкам ежедневно и не понимавших, что нынче случилось особенного (хотя они утром читали газеты).

Вокзал. Большие вокзалы; мобилизация, война. Киев, Брянск, Москва. Фронт, временное отступление, тыл, до победного конца. Шепетовка, Казатин, Жмеринка, Варшава; гар дю Нор, гар Сэн Лазар, Пари-Лион-Медитерране. Вокзальная толпа: слепой, липкий спрут; склизкая, тускло поблескивающая туша, похожая на блевотину только-что нажравшегося пса. Опять сорвался с цепи древний, обиженный каторжник. Всухомятку, без бани — уже вши! — детки на полу. И еще: эрос под шинелью, на соломе. Радость какая: отпуск, вакации, антракт. Композитор Сэн-Клэров шесть месяцев уже не курит и вдруг схватил цигарку: все трын трава. Человек помолодел на двести тысяч лет и может опять рассчитывать на пещерных богов; мускулы зорко сокращаются под грязным бельем; одной из многих душ Адама — весело.

Город аборигенов уже спал или притворялся спящим — чтобы не ворвались в дом: к его постели, одеялу, жене. Черно: затемнение военного времени. Южная ночь и красное вино на лицах армии дезертиров. («Просыпаюсь утром, а офицеры уже смылись в камионе, ну, думаю...» — Pardis, — соглашаются собеседники).

Военной выправки пары и группы, в штатском, с перчатками, боком, боком, через задние двери буфета... и оступались навеки в затемнение (гордиться нечем). Бордо, похабный мир. Богдан за кружкой кофе Красного Креста шепчет Олимпии о генерале Скалоне, застрелившем себя в уборной станции Брест-Литовск: последний акт чести среди последних мраморных умывальников и имперских зеркал. Та волна 1918 года достигла теперь берегов Атлантического и Тихого океанов: чести больше нет нигде. Полковники в плену выдают государственные секреты, доносят на товарищей, подписывают позорные документы, бойцы подпольных организаций предают друзей и соплеменников... Их всех потом судят чиновники и часто оправдывают. Олимпия родилась в Кастилии, где пламенные скакуны, уроды, святые, рыцари и влюбленные: ей понятны жалобы Богдана. Вообще она Францию никогда не любила.

— Наш мир спасет честь, — решает в сердцах он: — Не совесть, а честь! Не мужицкая расхлябанная правда, а римский, стоический закон... (Непонятно кому Богдан мстит; всё тело зудит и чешет: солома, грязь, ветер и солнце большой дороги).

В это самое время, по соседству в отеле, за опущенными тяжелыми шторами, сидят министры, предатели и генералы, ведут занимательную беседу, стараясь поразить друг друга дальнозоркостью, объективностью и цинизмом. Два, три героя обречены. Генералу де-Голлю, как садовнику, дает расчет наложница хозяина. К горлу Манделя уже протянулись грязные пальцы парижского сутенера Лаваля. Крым, Кубань, Жиронда в 20-тых числах июня.

Если вокзал напоминал язву, то прилегающие улочки казались уже захваченными антоновым огнем. Юг, Бордо, Жмеринка, Одесса, Барселона, шпионы и дезертиры, осада, блокада Карфагена, пятая колонна Чингис-Хана или Агамемнона, турки и крестоносцы грабят Святую Софию, хлещет поток, выбрасывая на метафизический песок нищих, сирот, мещан с чемоданами и узлами.

Беженцы отдыхают на булыжниках у канав (положив светлые головы на обочину тротуара, спят старцы; меж ними

бредут упрямые муравьи, руководствуясь сяжками). Семьи на рыхлой глине у вырытых противобомбных убежищ, прикурнули, чуть-чуть отгородившись от соседей: если взглянуть сверху, похоже на мозаику! Из наступившей темноты раздраженные, умирающие голоса; пьют кофе — уже без сахара!.. Когда в 1936 г. кино-хроника показывала бытовые мелочи из Испании, французы удивлялись: «неужели правда? в один месяц всё исчезло? нет, у нас такое немыслимо!» (Американцы, американцы, изучайте физиологию саранчи).

Новые поезда еще подходили к платформе и словно подавали пар в азиатской бане; члены гражданских комитетов, краснокрестные дамы с перстнями и камнями на белых, развратных руках — скрылись, не в силах себя больше проявить среди наступающего мрака. (Скоро, скоро ли раздастся истошный вопль: «громи всё к чортовой матери!»).

Centre d'accueil — неподалеку от вокзала, исполинский, деревянный амбар, набитый сеном, но пропахший кислыми виноградными жмыхами; там всё занято инвалидами прошлых войн. «Не курите, не светите, предатели, пятая колонна», — неслось вперемежку с дряблым кашлем из всех углов и куп, где зарылись в труху герои славных редутов и траншей. (По соседству, в эти самые часы, их маршал, Петэн, уже сдавшись немцам, еще торговался с Муссолини).

Пыльные, высохшие и потемневшие от лишений, Богдан и его подопечные пробрались в черный с земляным полом сарай (слышно было, как далеко у стены течет вода из крана в переполненную бочку).

Богдан не раздевался уже неделю; последнюю ночь, со вторника на среду, в Париже он провел у окна своей мансарды у Пер-Лашез (почти напротив стены коммунаров). Духи Марсельезы, 1789 года, 14-го июля, комитетов спасения, *Chant du depart*, Клемансо и версальцев носились над столицей, тщась уплотниться, стать опять реальностью. И еще другие песни, шаги, может быть, Жанны д'Арк или — галло-римской эпохи... Богдану чудилось: вот-вот, спонтанейно, Париж снова станет Варшавой, Лондоном, Севастополем! (Как много

случайного в необходимом и обязательного в чудесном). Когда на рассвете он вышел за газетой, — сводным листком всех эвакуировавшихся уже больших изданий, — эпически простоволосая торговка, прошумела: — Ты всё еще здесь, бедная Франция, мы погибаем из-за иностранцев!.. На что Богдан, театрально рванув ворот рубашки, гаркнул: — Я уже воевал, ломал хребет за прекрасную Францию! — солгал он, даже не заметив этого, употребляя выражение наполеоновской эпохи: *je m'ai fait casser les reins.* И в это самое мгновение улица подверглась странной метаморфозе; вдруг ощетинилась, зубами, клыками, рогами, копытами, хвостами, штыками; из мясной выглянули детки Шаслупа с кровавыми ножами, с противоположного тротуара весело бежал безработный Пьер с лицом диким и помолодевшим; магазин *Tout un peu* судорожно распахнулся и оттуда донесся зловонный визг о предателях, иностранцах, евреях. И Богдану стало страшно; но кроме непосредственной опасности его парализовала еще нелепая мысль: казалось, всему этому он уже был свидетелем в 1812 году (когда неудовлетворенные москвичи линчевали Верещагина).

Тело чесалось, зудело — особенно ноги: солома, отруби набились под шерстяные носки (Украина). Богдану захотелось помыться: под испорченным краном, над старой бадьей (стекающая вода образовала липкую, азиатскую лужу).

С наслаждением, но экономя время, намылился: студеная вода обдала хлыстом. Олимпия, в темноте посмеиваясь, держала полотенце (ей завидно — но нехватает отваги последовать его примеру); с радостью прислушивалась к смачному пофыркиванию своего здорового мужа, с которым впервые встретилась приблизительно у таких же координат в Барселоне 1936 года. Эти во многом похожие условия высекли из памяти прикрытые уже золою искры — раздули старое пламя (давно ставшее оккультным только).

— Вот и зубная боль миновала, — весело откликнулся он, запыхаясь.

И в это время (он едва успел натянуть пыльные брюки) завыла сирена, затем низко над головою загудели тяжелые

самолеты; совсем близко, вероятно у вокзала, стукнули пушки D.C.A., вызывая сугубое беспокойство. Вот грянула первая бомба: ах-ах (по контрасту: ха-ха) и три измерения дрогнули, пошатнулись (еще немного, время загнется и разуму откроется другое). «Ах-ах (ха-ха)» — невесело весело, опять (разбавленное мощным гулом моторов над распластанным вокруг вокзала древним станом).

10

Из всех обстрелов, пережитых поколением Богдана (и смежными с ним), бомбардировка Бордо выглядела самой позорной и мальчишеской; руки чесались от бессилия, хотелось харкнуть в лицо — средней истории, оливковой Италии, оскопленной Франции, Муссолини, под салом которого билось когда-то сердце поэта, солдата, революционера. Всё было глупо, мелко, подло и заранее предрешено в этой крысиной драме. В ту ночь Богдан узрел гибель Муссолини: его страшную и смешную смерть.

Крик Гитлера, обливаемого керосином, Богдан давно уже слышал на нюренбергских торжествах.

Только в Сталине ошибся: подушка на голову, старческая шея дергается, гортанное мычание тирана и липкая, кровавая пена... Увы, обошлось, к позору народа богоносца, без рукоприкладства; султан опочил под балдахином, при почетном карауле — обманули Богдана!

Итальянцы решили стегнуть плетью колеблющегося Петэна и заполучить Ниццу; вот почему они, солидаристы и синдикалисты, ударили по затопленному беженцами городу. Но личный состав требовательно поднимал голову в потоке больших событий: заныл, автономно и не смешиваясь с другими переживаниями, засверлил коренной зуб. И Богдан понял: на этот раз серьезно, надолго.

Вынужденное бездействие, пыльная солома, кашель бывших героев Вердэна — как случайна судьба человека: не судите его строго. Великая субстанция разлилась по несовершенной форме. Скорпион ли, Адам ли — всё чудо.

Как воспроизвести эту ночь, затем и всю жизнь... Точно в русской сказке: открыть одно яичко, в нем другое, поменьше и еще и так далее; а в последнем микроскопический ключик (без которого яичка-то не откроешь). Злая сказка. И вдруг молния из уст бабы-ведуньи пронизывает всё насквозь и озаряет: не ключик это, а счастье людское, обвороженное и усыпленное. «Но день настанет неизбежный»... Откуда слова? Ах, песня гражданской войны:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный...

Как этому дню радовались и правые и левые, и красные и белые, и зубры и комсомольцы. В эсхатологии русского человека есть что-то воистину ребячески оптимистическое. Всем известна правда апокалипсиса, но чему тут радоваться и зачем торопиться. А степная душа, отталкиваясь от повседневности, соблазняется любой заворошкой и веселится: кроши всё к чортовой матери. «Ах-ах, ха-ха».

Когда всё давно окоченеет и прилетят разумные существа на дисках, они поднимут теологические пласты и откроют скрижали, осколки ваз, бомб, популярные издания Данте, Библию, таблицу Менделеева... Будут мудро рядить об особенностях строя, культуры, религии, техники. Но эта ночь и Богдан с мокрыми волосами, гул тяжелых бомбовозов, Олимпия, излучающая отраженный свет, «сие есть заповедь моя» и детский плач на соломе, похожий на писк котенка, Муссолини — подлец, личный враг, а не историческая особа! — и святая всесокрушающая стихия жизни, льющаяся по заржавленным трубам души, а зуб во рту: как бы его вытолкнуть, выплюнуть... «Что вы, разумные существа других эонов и небесных тел, поймете в нашем мытарстве?» — осведомляется Богдан. Ему отвечает хор других светил: «Всё тот же Агнец был заклан при нашем сотворении».

— Ложись ближе, на зло немцам, — шепчет Олимпия, раскрывая объятия.

Сладострастно рвутся бомбы; «я вырву этот зуб» — гневно клянется Богдан, давая волю всей своей оскорбленной мужественности. («Солдату разбитой армии стыдно ласкать женщину. А всё-таки какое счастье. Стыд и рай; рай и зуб»).

Отшумели воинственные моторы; влюбленные застыли, перепутавшись руками, волосами, нежностью, истомой, мыслями (но не личностью). И вот, на рассвете: опять та же поганая сирена, задуманная администраторами еще во время похабного Мюнхена и не соответствующая реальному инвентарю. Ибо, кроме сирены, требовались еще: бомбоубежища и воздушная оборона с артиллерией, вышками, аэростатами, а далеко, на границе, зарытая в землю и сталь, родная армия с танками и резервами... В море линкоры и подлодки, на заводах радивые мастера, составы, груженые сырьем, и гордая улыбка усталой бабы, отработавшей вторую смену. Но этого не оказалось: осталась только сирена, поставленная на крышу мэрии — бессмысленно выполняющая свое назначение.

Неожиданно все сорвались с места и побежали к пустырю: почудилось, что на рассвете опасность действительнее, чем ночью! Ветераны на костылях, разбитые морды... Неподалеку зияли, вырытые отважными чиновниками еще во время смешной войны, окопы: туда ткнулись детки и путники с чемоданами, только что слезшие с подошедших с севера поездов: они несли с собою ауру Соммы, Бретани, Луары, Бургундии и казались чужими в Ландах.

Едва дождавшись конца рейда, Богдан бросился искать дантиста; в аптеке предупредили: слишком рано! Он с Олимпией уселся на лавочке под чинарой; молодой вдове, подчеркнуто бледной, в трауре (с ребенком и узлом), стало дурно — припадок: трясет, корчит, дергает. Аптекарь посоветовал порошок гарденала, но даром его не давал, а у женщины что-то с деньгами не ладилось; Олимпия ей отдала свою комбинацию аспирина с фенасетином (с которой не расставалась).

Наконец, постучались к зубному врачу. Француз из Бордо пил очень вкусное и пахучее, только что размолотое, свежее

кофе и совсем не удивился, что после такой ночи его беспокоят сущими пустяками (русский Богдан испытывал угрызения совести от этого проникновения будней в апокалипсис).

Южанин в домашнем халате охотно и ловко принялся за дело.

— У меня плохой новокаин, армейский, почти не действует и опасный, а платить за него придется. Лучше удалить без наркоза: дешевле и спокойнее.

— Ступай, подожди там, — смущенно попросил Богдан; и Олимпия, морщась, почему-то на цыпочках выскользнула из комнаты. Богдан мысленно вздохнул, открыв рот и уставясь на стену соседнего дома: вот прямо перед его взглядом высунулась из окна противоположного дома, на высоте третьего этажа, простоволосая женщина и горестно размахивая руками, старалась его от чего-то предостеречь. Этот сигнализирующий образ появлялся перед Богданом с детства почти всякий раз, когда он усаживался в кресло дантиста, и уже стал привычным; иногда он оборачивался мужчиной, стариком или даже ребенком, часто находя уместным маскироваться — будто бы вытряхивая простыню или скатерть (подросток визави кабинета Нарвина пускал мыльные пузыри). Но впечатление тайного предупреждения всегда создавалось ими.

Ему уже рвали зубы без наркоза: в России, конечно, а последний — в Испании... Но тогда это было естественно: иначе не представляли себе. А теперь что-то надломилось уже в душе Богдана: страх, лень, усталость, годы — впервые решительно подняли головы и зашевелились на виду.

— Господи, спаси и помилуй, — взмолилась несколько смущенно душа.

«Я тогда, очевидно, опять верил в Бога», — догадался неожиданно Богдан. Так, человек, на склоне лет, роясь в старом сундуке, находит трубку, кисет и вспоминает вдруг, что когда-то курил... а затем еще многое, связанное с этой полосой жизни. «Как я, однако, мог существовать без молитвы. И хорошо вести себя, дай Бог всякому: не только для себя

старался — о других скорбел! Теперь я не хочу двух шагов сделать самостоятельно, без молитвы».

На плите той могилы (в погибших блокнотах) высечено славянской готикой: «Здесь упокоился, нежданно, негаданно, бедный стрелок. Он сражался с маврами в Испании и русские социалистические реалисты ему выстрелили в спину! Смешной эмигрант, добровольно взваливший земное неизбежное иго, благородно отказавшийся от привилегий благодати... Он понял: надо стоять у амбразуры, стрелять, целиться и в то же время видеть себя — как стоишь у амбразуры, целишься и стреляешь, а там снова еще один круг, спираль в изогнутом зеркале! Ибо только творчество освобождает человека». По этой записи совсем не заметно, что Богдан опирается на чудо: лучи вновь зажженной звезды еще не дошли!

В погребке у Любимого
Я выпил вина...

Св. Иоанн Креста

11

Тогда испанская кампания достигала своего романтического зенита. Университетский городок на окраинах Мадрида; (Тракторный завод в Сталинграде).

Богдана привезли на грузовике из Парижа. Ночью, уже без шуток, вина и песен, перевалили через Пиренеи. Моросило (всерьез). Французы Народного Фронта обращались с эмигрантом вдвойне учтиво: смотрите, метек, вранжель и тоже понимает!

Порыв давно прошел: еще у застав Гренобля. В героический акт вкрадывалось множество личных, мелких соображений. Одни успели отказаться от службы или комнаты. Другим надоело перебиваться на скромное пособие шомера; третьего прельстили девочки в военных мундирах на страницах иллюстрированных журналов.

Богдан стольким глубокоуважаемым общественным деятелям, современникам Кропоткина и Брешко-Брешковской, сообщил по секрету, что отправляется на фронт... Его так ругали зубры и чествовали пореволюционные юноши, что теперь отказаться было уже немыслимо для самолюбивого кавалера. «И всё-таки мы герои!» — улыбаясь, думал он на полу грузовика. Захотелось вдруг описать подвиг Икара или Муциуса Сцеволы с такими же частными, обывательскими подробностями (от чего величие жертвы отнюдь не умалялось)... «Но

с этой формой творчества теперь покончено, Богдан!» — зазвучали басы.

Их высадили глубокой ночью; дали рому на дне манерки (бедный Дионис). Богдан тогда совсем не пил вина, не ругался и не знал женщин; не верил в Бога и почитал за непростительную слабость всякое падение. (Походил на дикаря, упрямо гребущего веслом, не догадывающегося, что можно поднять парус — использовать благодатный, щедрый ветер).

Венгерец или австриец на ломаном французском языке произнес речь, касательно общей конъюнктуры; винтовка заряжалась отдельными патронами (без обойм), штык западный. Их провели гуськом мимо пригородных домишек и наивных баррикад на передний край. Там стреляли в ночь; в ответ изредка вспыхивали огоньки, подобные железнодорожным. Вскоре раздался свисток и толстенький польский мальчик побежал вперед, размахивая наганом; за ним вплотную следовали Богдан и остальные. Ложились, стреляли, снова бежали (Богдан неожиданно заметил рыжеватую, чужую землю и понял, что он далеко — у порога Африки). Подниматься с каждым разом становилось труднее и труднее, некоторые продолжали лежать и лозняк кругом шевелился, точно меж стеблями ползли юркие змеи.

Уже светало, когда со всех сторон зазвучало нестройное ура! Впереди сверкали вспышки, очень громко стучал пулемет и грудь залил сплошной поток восторга (совершенно вытеснивший страх и недоумение).

Они ворвались в неприятельские окопы, но живых арабов Богдан не видал. Отряд повели назад; на полпути лежал в красной глине пухлый мальчик, цепко держа еще в руке тяжелый револьвер — но видно было, что душа его уже рассталась с этим обрубком материи. Богдан поспешно отошел за куст: его вырвало. Вот когда, собственно, он наконец осознал, что его уже несколько часов беспокоит настоящая зубная боль (так что его даже потянуло назад в зону огня, где физические страдания воспринимаешь по иному).

Богдану бы сразу сообщить об этом по начальству —

может, нашелся бы среди добровольцев дантист... Но он искренне полагал, что с привычными формами жизни покончено с тех пор, как тронулся их грузовик у Плас де ла Национ; тогда всё знакомое и логичное иссякло — началось сплошное фантастическое, ведущее к разрушению и подвигу! А тут вдруг верхний коренной — какая обидная, чеховская пошлость. Что общего между мертвым, уютным сверлением в челюсти и его, пронизанной сиянием, смятенной, детской душою?.. В опухоли десны нет личного, исключительного: это коллектив, казарма, племя, раса. Восход солнца или стихи, любовь к девушке, прощение врагам, долг и жертву — это всякий переживает по своему, особенно! А флюс у всех один.

Богдан остался в части: провел еще целый день и мучительную ночь, стреляя (прижимая щеку к горячему дулу ружья). Взятому прямо из большого города в поле — на землю, под звездами, среди озабоченных насекомых, ошеломленному воинственным воем и чужими языками, Богдану всё казалось не реальным, до смешного сумбурным, призрачным. И только зубная боль соединяла его еще с привычной оболочкой жизни.

Их опять подняли в атаку; из древнего монастыря на бугре злостно палила пушка. За каменной стеной, куда честно добежал Богдан, уже хозяйничали республиканцы, выволакивая призрачно-сухие, легкие трупы легионеров и двух пышно-красочных петухов-офицеров. На заре, часть опять отвели назад в резерв, за сотню шагов от позиций (где под добротными плитами покоились отвоевавшие уже рыцари и монсиньоры).

Богдан не находил себе места от боли; он брел вдоль монастырской стены, зачем то разыскивая ту брешь, через которую накануне, под дробь пулемета пролез на другую сторону.

Развороченные стены во многих местах еще дымили (или, казалось, дымили, почернев). Внутренний двор совершенно уцелел: там виднелся средневековый фонтан, а кругом статуи величественных и опрятных святых. Богдан постучал в запертую решетку (хотя рядом можно было легко перешагнуть).

Появился монах — точно нес драгоценный сосуд на голове. Лицо, впрочем, мужицкое, хитрое и перепуганное.

Солдат объяснил по-французски и жестами, показывая на свою щеку; неизвестно, понял ли его привратник, но провел через двор и портик в церковь — велел подождать!

В полутемном, прохладном храме было хорошо. Эти камни, вероятно, принимали еще удары первых мавров, а может, и вандалов; они меняли свое расположение и назначение, но не вес и температуру. Богдану чудилось: ноздреватый камень дышет.

Кругом тянулись приделы; самый большой принадлежал св. Иоанну Кресту. Русский эмигрант опустился на колени перед святым и прижимаясь воспаленной щекою к зернистой скале, замер. В голове автономно шумели еще гудки Плас де ла Репюблик, утомительное путешествие на дне грузовика, девушка, подававшая вино в Тарбе, сплошная бессонница, рыжая Испания, визг мавров, зубная канитель, всё это новое и совсем знакомое в жизни современного мальчика... В 1919 году конница металась по дорогам Киевщины, Херсонщины, Волыни (и мычали волы).

— Что такое жизнь? — спросил Богдан. — Кто нас создал? Зачем? Куда мы бредем?

«Из темной тучи грядет свет. Тьма не простое отсутствие огня. Подлинный свет, принцип его, не лучеиспускает, не горит, не греет. Только эманация производит солнце и звезды, рождающие диалектические тени. Абсолютный свет, эссенция его, не доступны простому глазу. Но только его надо видеть, стоит видеть: сияние темной тучи»... — говорил святой, повиснув в воздухе и слегка покачиваясь; потом сделал книксен и опустился на свой цоколь. За спиною раздался вкрадчивый кашелек.

— Падре.

Священник отлично изъяснялся по-французски.

— О, нам одна стихия уже не страшна, — отмахнулся он от вопроса Богдана: напугало ли их вчерашнее сражение за

оградою... — На Тихом океане я видел, как огненная лава вливалась в море и бурная пучина вокруг нашего судна поднималась вверх столбами пламени.

Он в Южной Америке выполнял роль не только духовника, но и врача, коновала, акушера: единственный хирург у подножия Анд на участке, превышающем Андалузию. Впрочем, ему случалось в пещерах находить древние инструменты для ампутации и даже трепанации, par Dieu.

— Кстати, в джунглях рвут зубы без наркоза, — заметил падре не без злорадства, вопросительно оглядывая вооруженного иностранца.

— Думаю, надо удалить? — спросил Богдан, тыча пальцем в зуб и скривившись больше, чем нужно. (Он вспомнил, как в первые годы во Франции, ему трудно было привыкнуть, что зуб женского рода... И русский поэт, студент Сорбонны, друг нескольких знаменитых художников и общественных деятелей, Богдан часто попадал впросак у дантиста, куда он являлся с рекомендательными письмами, но без денег). — Думаю, надо выдернуть, pas d'erreur?

Падре неубедительно промычал «си»; видно клиника, диагноз не входили в круг его занятий. Но руки у него были замечательные: большие, покрытые редким, мягким, длинным волосом, белые и сухие.

— Интересуетесь нашим Патроном?

«Все болтают перед экстракцией: в джунглях и в столицах!» — усмехнулся Богдан, испытывая мгновенное удовлетворение, как всегда, когда намечалось творческое обобщение из лабиринта двусмысленных символов, стрелок и значков.

— Да, я знаю его стихи. Св. Иоанн Креста большой поэт.

— Он святой, — поправил падре. Чувствовалось, что этот миссионер может стать весьма неприятным собеседником именно благодаря своим качествам: честности, прямолинейности, настойчивости.

Но в то же время, руки его, ловко, всеми пальцами и кистью перебирали щипцы в кожаном, массивном футляре, ве-

роятно, сопутствовавшим еще первым конквистадорам. И движения этих рук свидетельствовали об уме, вкусе, знании причин и следствий явлений.

— Я полагаю, что каждый святой выполнял бы какую то другую роль если бы не стал святым и эта его воображаемая профессия кладет на него печать, — искренне уверял Богдан, никак не забывая, что ему предстоят отвратительные минуты и всё же увлекаясь разговором, обращаясь преимущественно к ладоням священника, которые выжидательно застыли в воздухе, точно поддерживая длинный и ценный предмет: — Одни святые исключительные администраторы, другие строители, купцы, эксплоататоры, третьи медики, сестры милосердия, учителя...

Падре, молча сверля его карими, стеклянными глазами, слушал.

— Вот св. Тереза — хозяйка, организатор. Тереза маленькая актриса, писательница, автор гениального интимного дневника. Св. Екатерина сиделка, нянька. Есть воины, дипломаты, ученые, моряки, тираны, спекулянты. Ваш патрон — великий поэт.

Оливковое лицо священника расплылось в улыбку (он держал тяжелые щипцы, похожие на принадлежность конского туалета).

— Я застал вас перед образом св. Иоанна Креста, — сказал он решительно: — Неужели вы молились поэту?

Богдан удивился.

— Не знаю, — сказал. — Подумайте, два дня тому назад я еще слонялся по Большим Бульварам... вот опять чужбина, ваша республика, вой врагов, умрешь и не догадаются даже кто умер и за что... Трудно в таких условиях проявлять последовательность.

— Я буду рвать вот этим инструментом, — заявил падре таким тоном, точно сообщил добрую весть. — Отец, Сын и Св. Дух.

Богдану стало душно: интерес к тайнам мироздания, жажда смысла, готовность за него платить... остались теми же, только сдвинулись немного в сторону, потеряли наглядность; так небо продолжает тускло мерцать, когда его заслоняет парусина.

— Главное, хорошо ухватить. Полагается отогнуть кругом десну. Да, да, это неприятно... Теперь щипцы... не торопясь, не торопясь... и зажать. Странно: не больно, какой парадокс! Зажимаешь тисками часть живого тела и не больно. Боже упаси сразу дергать: надо расшатать, оторвать от скреплений, иначе, Боже упаси, сломаешь. Направо-о-о-о, налево-о-о-о, вперед и назад, ничего, ничего. Всё это знаешь, но когда делаешь, обычно упускаешь из виду одно обстоятельство. Опыт не помогает в самой работе; опыт учит главным образом истолковывать неудачу и не смущаться ею. А теперь не сразу вверх, а по кругу, спиралью, спиралью...

12

«Что я делаю здесь? — оглянулся вдруг Богдан на собственный профиль, как с ним часто случалось в жизни: — Удаляю зуб... Пришел на эту землю, под это небо, чтобы раскрыть зев и слюнявить бумажку. А когда выпадут или растворятся все зубы, уйду, исчезну куда то. Какой неправдоподобный вздор. Где они все молочные зубы, где я вас оставил лежать? Где тенистые берега истока реки? Всё там же. И вода всё так же журчит по камням. Если повернуть вспять и поплыть вверх — дотронешься рукою до старинной ветлы у плотины. Эти берега незыблемы и постоянны? Водопады, пороги, мели, притоки, галька, всё реальность, независимо от памяти и сознания: они там! А меня несет дальше, всё стремительнее и пассивнее. Что я? Я лодка? Человек у руля или у весел?.. Но я и часть реки, берег с рощами и лугами, я и форма и содержание, причина и следствие, творец и творение, раздираемые бурным течением. Куда же я несусь и где остаются т а заводь, т о

дно и те ивы? Догадываюсь: река впадает в океан. Неужели я и море? Река течет; море покоится на кругообразных повторных взмахах. В той же реке нельзя дважды искупаться: будто бы невозвратимый процесс. А в том же безбрежном океане будешь вечно плескаться: он всюду! Вся задача заключается в том, чтобы поплыть против течения: назад к пройденным местам и знакомым истокам. Шагнуть в другое измерение и подняться вверх по реке: время должно иметь больше, чем одно измерение — шагнуть из линии в плоскость или окружность времени (для этого нужна машина). Здесь покоится юноша, винтом прорвавшийся в шестое измерение и легко добравшийся к первопричине».

Зуб лежал посторонним, мертвым телом и Богдан (словно отделившаяся душа) взирал на него с удивлением.

Они расстались полудрузьями; Богдан решил, что тот тертый калач (в своем роде комплимент). Падре же ни на иоту не отступил от вековой, зоологической осторожности; иностранец, иноверец, республиканец, но тоже Божья тварь. Пациент щедро сунул в кружку для бедных несколько бездушных для него банкнотов.

Отплевываясь, вернулся в часть, где ему сообщили, что произошла ошибка: их место не на фронте, а в Барселоне — обучаться и экипироваться.

И вот перед Богданом уже растилается солнечный город с чертами военно-тылового разгула. (Именно, как легко воображение себе представляло). Запасные девицы, герои, эффектные повязки, чужие деньги, зажигательные плакаты, вино и молодость под синим античным морем.

Грузовик лихо несется по набережной, окаймленной телеграфными столбами: через минуту подравняются вон с тем шпилем. «Значит, на том пространственном стыке будущее станет прошлым. И тем скорее, чем быстрее мы несемся. Предельная скорость должна расщепить время. Всякая реальность создает себе прошлое. Одна смерть не имеет прошлого. О ней

не скажешь: тогда я умер. Но то, что не имело прошлого не существовало в настоящем: оно не было».

— Что ты думаешь об этом, Богдан, ведь здорово? — два внутренних собеседника обратились к усталому арбитру.

— Мне бы теперь в баню и выпить, может, девицу какую нибудь заполучить, а вы всё с монпарнасскими разговорчиками пристаете, — рассвирепел Богдан, но через мгновение уступил:

— Будущее подобно отражению в зеркале: оно там, но это мнимый образ, реально существующий только по эту сторону зеркала... Божий мир отразился на гладкой поверхности вселенной и этот мнимый отблеск есть Ничто, смерть, небытие.

Под вечер того же дня, на трамвае, ведущем в порт, Богдан встретил Олимпию.

Южный город шумел под косым солнцем. Богдана (без всякого усилия с его стороны) принимали за уже нюхавшего порох бойца в отпуску. Живописная толпа, средневековые стены, ветер Африки, Сицилии, Карфагена, Цеуты несет золотистую пыль. Хорошо быть смелым, молодым, пройтись по бульвару в лихо заломленной кэпке... пить коньяк без марки, но равного которому и Улисс не пивал... держать за плечи смуглую девушку с пышным именем Олимпия, чей смех упорно напоминает кастаньеты, а походка, песня — русскую деревню. Завтра или через неделю Богдана опять перебросят на фронт защищать законное правительство, освобождать испанский народ от генералов, мавров, кардиналов. Биться за Христа трудящихся и грешных; за право рожать детей и кормить их, за бесплатные курсы арифметики и балета, за любовь, если не ко всем соседям, то хотя бы к членам того же объединения, за мир от Гибралтара до Бруклина, от Суэца до Цусимы, за инсценировку рая на земле, в ожидании неминуемого Страшного Суда и знакомого последнего чуда, за церковь всех святых и святых всех церквей, за творчество великих и малых поэ-

тов, за тихий подвиг, за детей Линдберга и лавочника, за муки Иоанна Креста, истязуемого монастырскими игуменами.

Если бы только демократы, там сзади, поняли, что это их судьба решается теперь под Мадридом... Мюнхен и drôle de guerre только естественные последствия этой ошибки. Республиканская Испания на границах Франции в 1940 г. изменила бы картину разгрома (африканский этап, во всяком случае, оказался бы перепрыгнутым).

«Проклятие, проклятие Блюму, если он не поймет! — повторял тогда Богдан: — Если нас теперь оставят на произвол судьбы, мое поколение больше пальцем о палец не ударит, когда сверхколбасники начнут делать из демократов сосиски»... Вот настроение Богдана тех дней. И еще: «жалко, больше нельзя будет читать по четвергам литературных номеров «Последних Новостей» и «Возрождения»...

Богдану негде заночевать и Олимпия ведет его на цыпочках в свою комнату. (Позже он ее увезет через Ниццу в Париж и сделает своей женою с тем, чтобы в 1942 году она попала в газовую камеру; впрочем, нынче Крупп и Ильза Кох голосуют за христианских демократов).

Всё горит на солнце; столбы золотистой пыли, соли, радости, певучих голосов. Из порта — смола, рыба и хор лебедок. А там вдали французский берег: Порт Вандр, Прованс, Кап д'Антиб, итальянская Ривьера... должно быть, богатые белогрудые иностранки и сухие кавалеры спешат в казино Монако.

«Я мог бы теперь слоняться там, если бы распорядился своей судьбою иначе, — догадывается вдруг Богдан. — Но вместо казино и рулетки, ночью по свистку побежать с ружьем на перевес. Тебя ударит взрывной волной и на всю жизнь оставит след в колене. Какое отношение это будет иметь к грядущему (и там за Млечным Путем)... Не знаю. Но даже отрывок из хрестоматии, заученный школьником, сказывается в нем порой, когда он уже глава семьи, государственный муж или художник».

Богдан сидит на пригорке у старинной церкви и обняв Олимпию зорко смотрит на восток. В наступающих сумерках за водой ему чудятся какие то знакомые и непонятные очертания; только пять лет спустя, он понял наконец, что видел, но не мог разобрать тогда... Ночью его корабль будет пробираться в этих же территориальных водах к Африке; и вот вдруг справа, точно рассыпанные угли с жаровни, мирные огни большого города — враждебного именно своим будничным дыханием.

— Ce sont les phares de Barcelone, — взволнованно скажет молодой офицер: если бы показались маяки Огненной Земли, то он почувствовал бы почти такой же восторг. — Теперь четверть двенадцатого, народ выходит из синема.

И Богдан вспомнил солнечное зарево, шум древнего порта, опухшую десну, плечи Олимпии и свой взгляд, брошенный в сторону Прованса (откуда должен будет отвалить его корабль), ждавшего, — среди чаек над рябью, — пластического ответа целых пять лет.

Франция, Европа, твои мальчики, воспетые звонкими писателями вроде Гюго и Достоевского умирают за ротатором; генерал де Голль — последний редут благородства, свободы и мужества. Немцы, как бешеные щенки кусают сосцы собственной матери; шкурники сдались и распродают импрессионистов агентам гестапо. Но уже загремели пушки Сталинграда и скоро на Тракторном заводе из развороченных камней и стальных брусьев образуется чудесная преграда, которую чем больше долбить и сверлить тем неприступнее сделаешь.

Этот зуб в Испании отметил конец дешевого демократизма и автоматического оптимизма; он разделил жизнь Богдана точно на две равные половинки.

13

Зато как легко и даже весело было разделываться с больными зубами в Париже в героические, творческие годы. Бог-

дану случилось даже раз гнаться за дантистом 14-го июля: смешно и грешно. Вообще, ему почему то докучали зубы именно в праздники (или в дни народных бедствий), когда добиться помощи и труднее и дороже.

День Бастилии или Диониса? Мистерия, вечное повторение по кругу: убогое второе измерение времени. Праздник начинался еще 13-го, под вечер, мощно раскачиваясь в звуках, красках и страстях, постепенно к утру 15-го совершенно парализуя город: в метро и кафе, у станков и прилавков, люди, наконец, застывали, изнеможенные от вина, поцелуев, пляса и близкого, ощутимого присутствия старинного Бога огня, крови, ферментации и дурмана.

Вот уже вынесли столики и стулья на мостовую у скромного кафе захолустного квартала; флажки развешены и гармоники грянули неожиданно громким фальцетом. Дэми и боки с пивом, красное, густое Дюбонне, одеколон Перно, янтарное бордо, радужно вспыхнули под первыми лампами. В душном, летнем воздухе слышен топот карлов, паниссов, сатиров, нимф, фавнов, спускающихся с окрестных гор и холмов. Но опытные консьержки и бравые, эмфизематические контр-метры уже кружатся на своих варикозных ножках, охваченные дурманом таинства.

Дионис напролом бредет из рощи; темнеет, темно и вот уже плюгавенькая девочка с античной грудью закружилась в паре с наглым Жаном в велосипедной кепке, завороженно уплывая в тень ограды Пер-Лашеза.

На Монпарнассе, Монмартре, жадные туристы норовят отделаться от своих белокурых, любопытных подруг и следуют за темными, загадочными женщинами, сошедшими с холмов Бютта и Менильмонтана. Всех обуяла кровь Диониса, щедро разлитая в воздухе. Путешественники, рано улегшиеся спать в своих отелях, снова оделись и мечутся по бульварам, не зная куда деваться. Где центр жизни, таинства, действа? На Монмартре, Монпарнассе, Сэн-Мишеле или в шикарных кабачках? Хмель Диониса освобождает от ярого греха.

Богдан в те годы проводил свои вечера в библиотеке; под предлогом экзаменов, писал урывками первый роман. (Потом, на тротуаре, в чаду танго, ему вся работа последнего периода представлялась хламом; да и вообще, писать, значит сознаться в собственной неудаче)...

Он завидовал этой толпе, разномастной, но сопричастной одной тайне. Консьержки и шотландские лэди, индокитайцы, Пикассо за одним столиком с русским клоуном Альбатросовым, уверявшим, что Ленин у него украл полное собрание сочинений Достоевского; Шаляпин, Алехин, дюжина сутенеров, отдаленно напоминающих Франсуа Виллона и шоффер-вранжель, кавалергард, издающий на ротаторе «Конституцию империи народов государства российского». Пройти мимо, вон как тот педерастик, ласково кивнув головой Линдбергу или Андрэ Жиду и обняв сидящую напротив даму, потянуть ее в хоровод. Сказать: — Я плохо танцую, хотите вина... Значит ли это, что надо обязательно спать? А если да, то как это всё налаживается? Кто первый предлагает? Намеками или прямо? И в отель или к себе? Страшно. (К счастью, денег нет).

Ему шел 22-ой год; жил в старинном доме без отопления, против церкви Сэн Северэн (совсем близко пресловутая рю де ла Арп). До десяти часов отсиживался в библиотеке Сэнт Женевьев.

Летний вечер спускался на синих парусах: стекляный купол позволял следить за медленным продвижением воздушного корабля. Лейбниц доказывал, что мир состоит из монад и лучше этой тюрьмы ничего не придумаешь! Гегель требовал для всякого д а соответствующего н е т, ограничивая тем самым способности Бога-Света. Для Бергсона память в личности и личность в памяти. Богдан пишет о человеке, который живет, растягивается, линяет и всё-таки знает, что это о н, всё тот же... И только иногда, просыпаясь в темноте, одно мгновение, герой не сразу находит себя: кто он, где очутился, зачем? Эта минута стоит веков: через трещину в сознании мож-

но подглядеть тайну души, *отделенной* от памяти. Так строчил Богдан.

Вечер уже подплыл к самому городу; у заставы его остановил пьяный сторож: при свете тусклого фонаря, проверил подорожную и поднял шлагбаум — синее судно проскользнуло вперед, на мачте взвились голубые розы. Обыватель смотрит на небо и думает: там Бог... ангелы глядят на землю и повторяют: там Бог.

Против Богдана за длинным и узким библиотечным столом улыбается девушка: похожа на Жозефину с портрета Давида: подросток и женщина одновременно, куклы и аборт. Подвижная, серьезная и смешливая; она выражением своего личика ласково поощряла робкого Богдана, любезно благодарила дежурного, подающего книгу и строго осаживала других самцов, нащупывающих почву... (всё в рамке одной и той же миловидной улыбки).

Главное Богдану нравится в ней — что она явно его выделяет! Часто садится напротив за столом, гладит взглядом лоб, лицо, вспыхивает угольками в зрачках — вот-вот ухмыльнется всем личиком, бледно-смуглым, детским и страстным. Июль, душно, жарко, она готовится к последнему экзамену и раздраженно, в который раз, подчеркивает важные литеры в скрипте. Иногда проведет рукою по мешающим кудрям, глубоко вздохнет и взглянет на Богдана, шутливо жалуясь, ласкаясь. Богдан отзывается морщинкою с края глаз и тотчас же, нахмурившись, зарывается в тетрадь. «Как мне вылепить этот вечер? Он еще не миновал, а я уже воспринимаю его, как свое прошлое. Я еще здесь, но уже побывал там или наоборот: я уже там, но еще возвращаюсь сюда. Ангар с небом над головою; стены книг и подъемная машина по середине; хромой инвалид, любитель рыбной ловли, выуживает из подвала Фому Аквинского, Спинозу, Федорова. Этот парниковый воздух с духами и вонью; нищие, дремлющие и отрыгивающие в тени реформаторов; молодежь, зубрящая основы римского права, ждущая десяти часов, чтобы спуститься к Дюпону, подкре-

питься, развлечься. И вот я, между небом и землею, зажатый между двумя безднами, метафизический сандвич, знающий, что Бог не мог бы создать трехмерного мира, если бы сам не выпирал из него. Чтобы сотворить остов пространства надо перешагнуть через него (во внутрь или наружу). Я займусь расщеплением атома времени».

Жозефина удивленно и требовательно гладит его взглядом; Богдану чудится, что все его эксперименты с атомами и абиссами только трусость и тунеядство. Истина, слава, блаженство — здесь! Положить голову на ее подвижную грудь и так провести остаток вечности. Вот мудрость и тайна. «А что, если восстанавливая сегодняшний вечер, забыть про синие паруса, католический крестик в жаркой тени декольте и себя в разных позах. Если обернуться назад к основному эфиру, покрывающему и глубь, и ширь и высоту: среда, представляющая из себя нечто гораздо более важное, чем формы, которые она обнимает и наполняет. Да, Фрейд прав, детство, комплекс отца. Но это детство началось гораздо раньше: там в предзвездной пустыне агнец был заклан при сотворении мира. Какая травма, Отец!»

Вот уже грянула Марсельеза с рю Суффло; на Трокадеро бьют фонтаны: они изменчивые и постоянные, вечно подвижные и те же! «Вот такое равновесие надо создать в романе. Тогда через полвека героические юноши меня откопают в Москве; в поощрение начинающим расскажут об эмигрантской борьбе с самодержавной бездарностью, пошлостью, глупостью, ложью. Журналы, за недостатком места кромсали мои рукописи, но я будто бы шел неуклонно вперед, точно видел окультный свет или слышал голос... В ту минуту, как я это произношу, мне становится ясно: вру! Никакого света, никакого голоса. Но в то мгновение, как я решаю последнее, мне опять чудится: и это неправда (значит, вижу, слышу). У Жозефины, вероятно, пахнет под мышками и всё же в ней больше мудрости и чуда и возможности творения, чем в блаженном Августине. А если с нею заговорить? Так и так, дескать, не

желаете ли прогуляться? Денег нет. Но значит ли это, что надо обязательно спать? Грех. Что грех: это грех или я, во мне грех... Если я этого еще не понял, то когда же, Господи? На смертном одре? Когда мне рвали зуб, я разменивал часть своих сил, но ничего не приобретал радикального».

14

Синяя баржа плыла по улицам. По обочине Млечного Пути бредет человек-сандвич. Живую, тоненькую, поющую душу зажали две бездны. Луч света брызнул из темной тучи. Жрец и жертва движутся в пустыне, руководствуясь явно апокрифическими картами, но компас в общем верный и поэтому они всё-таки к оазису доползут.

Параллельные линии вероятно пересекутся, вес и длина раздуваются и сжимаются, радиус от движения укоротится, но угол пребывает вовек. Угловая культура, угловая религия, угловая наука, угловатое искусство. (Проза должна всё время загибаться в другую, чуждую ей среду).

В это время Жозефина горестно вздохнула, схватила свой библиотечный формуляр и, на обороте быстро что то черкнув, решительно протянула через стол Богдану. Детские, шаловливые глаза, чуть-чуть овальные, а лицо страдающей матери, любовницы, рожавшей, умиравшей, воскресавшей девы рода человеческого.

М о н и к Б е г э, 11 р ю Б о н а п а р т — прочитал с похолодевшим сердцем Богдан. Милая, дорогая, драгоценная, честная и отважная. Теперь ему ничего другого не остается, как действовать и действовать он будет, хотя видит Бог, что это ему трудно и противно, ибо он еще не понимает причин и следствий отдельных актов, рассыпанных в мире, точно жемчуг порвавшегося ожерелья.

— Si on sortait ensemble? — грациозно расчеркнулся он, словно всю жизнь делал такие предложения. («О, подлый трус, ничтожный человек с видом значительным»).

Она понятливо кивнула мягкой, курчавой головой матери-подростка и покорно вздохнув (выпятив довольно высокую грудь), начала складывать записки и пособия.

Богдану надлежало еще с час работать (под «сортэ ансамбль» он имел ввиду — когда закроют библиотеку, если вообще что то определенное имел ввиду). Но теперь ему ничего не оставалось другого, как игриво улыбаясь в одну сторону и по волчьи скаля зубы на соседних самцов, последовать за Жозефиною, почему то на ципочках, подражая ее походке. Ее голые, милые руки висели покорно, плечи тоже открытые, знакомо и празднично белели под тусклыми лампами книгохранилища. Только грудь (очевидно, без лифчика) часто и высоко вздымалась: в этом таилось начало грозное и предостерегающее. Ему хотелось зажать руками эту грудную клетку, остановить на минуту неизбежное движение жизненных соков. Прищурившись, она осведомилась:

— Куда мы, собственно, направляемся?

— Что-ж, ведь канун 14-го июля, — игриво осклабился Богдан: — Не так ли?..

Кошки скребли во всех углах его девственной, героической, безденежной, непрактичной и грешной души. «Неужели это я? — задавал он себе в такие решительные минуты обычный вопрос: — Богдан, который не засыпал пока не вернется отец, обожал сестер, но стыдился с ними выходить на улицу: чтобы не засмеяли. Неужели это я: на коньках с горы — прямо под трамвай. А там река и сосновые дачи, пахнет скипидаром, у порогов ловят линей. А потом на Украине конница переходила вброд большую реку и повстанцы сбили несколько всадников: Богдану видно было, как завертелись и поплыли вниз к другим порогам папахи, сумки, тела. Потом Париж. Что это всё, бред: Жозефина, Паскаль, каштаны, Бог, похоть, Анненский, Пруст, Кафка, ...

Богдан родился русским с таким расчетом, что ленинский подвиг его застал в одиннадцатилетнем возрасте; семья вскоре отступила на юг, так что гражданскую заворошку он наблюдал

уже с берега живописной речки, где разбивали станы еще татары, и литовцы, шведы и французы — с переменным успехом. После разных передряг в Константинополе и Бизерте, Богдан осел, наконец, в Париже. Из России вынес ровно столько, чтобы отравить себе безмятежное существование на трезвом Западе; верность звучному и варварскому, молодому и необъезженному языку без четкой грамматики, без полного словаря: так что все упрекают друг друга в незнании отечественного синтаксиса (начиная от Толстого и Гоголя, кончая любым присяжным поверенным или штабс-капитаном). Эта стихия речи отравила Богдана, одурманила навсегда, так что уже чужой язык, ставший будничным и родным, до конца ему не давался. Затем презрение к французику из Бордо, чувственному, расчетливому... «сухость» англо-саксов, колониальных жуликов, лицемеров. То ли дело, наша ширь, да стихия, да березка, да воля, да песня ямщика. Однако, к Достоевскому, к Дарданеллам, к разбитым зеркалам и смердяковским клятвам, что русский человек вместе с красотой спасет мир и даже к толстовским онучам и советам постаревшим хозяйкам, ко всему этому африканскому максимализму, Богдан с юных лет относился со здоровым юмором.

Так, постепенно, родился цельный образ, докучавший Богдану: континент, разбитый на манер версальского парка. Тайга с грушами дюшесс, протопоп Аввакум и Марсель Пруст; Чаадаев и Кафка, Федоров, Джойс и Бергсон. Закон и чувство меры; православная совесть, знакомая с колыбели и честь, прельстившая его на католическом Западе. Где нет чести нет подлинного равенства, нет достоинства личности, нет личности (коротко говоря). Мужиков пороли, а бояре на карачках били челом царю — его «верные рабы». Даже хоронили исключительно рабов Божьих. В отсталой Испании гранды присягали королю — «первому среди равных». Да, честь впереди совести. «Дело эмиграции привести в Россию этот цветок, изнутри его пересадить, привить к дичку совести. Вот наша миссия!» — решал Богдан и друзья его поддерживали, чему помогало крас-

ное винцо, которое, если привыкнуть, не уступает соборной водке.

Богдан занимался философией в Сорбонне и писал стихи; он боролся с лже-религией, что неожиданно привело его к самому догматическому древнему православию. «Верить можно только в самое неразумное, непонятное, абстрактное», — решил он. И чем загадочнее таинство, тем оправданнее. Первое причастие давал сам Христос: живой и во плоти. Значит, речь шла, о какой то абсолютной крови и плоти... Эти разглагольствования отнюдь не отпугивали духовника Богдана, священника парижской формации, тоже чудесный продукт того периода странствований: душа, растянувшаяся между Серафимом Саровским и Паскалем, Соловьевым и Терезой маленькой, Прустом и Тургеневым. Бывший кавалергард, он на стоянках такси, у руля, зачитывался стихами Ходасевича и Поплавского, что совершенным парадоксом привело его в церковь (в Париже тех дней это почиталось вполне логичным). О. Виталия кавалерийские рейды Богдана не устрашали.

Свои аскетические упражнения Богдан одно время доводил до нелепицы, как всё, впрочем, что делал всерьез (несмотря на свою любовь к Западу). Соорудил себе нечто вроде власяницы — носил ее зимой и летом! Роль вериг выполняли гимнастические приборы и гири (с одной, помельче, не раставался и на улице). По природе слабогрудый и несколько уставший от октябрьской диэты, он благодаря свирепым, страстным упражнениям, развил неимоверные мышцы на спине, на плечах и сзади на руках (лазательные); да и по походке, Богдан в те годы смахивал на гориллу.

После двухчасового гимнастического сеанса казалось блаженством облиться из таза студеной водою (душ в Париже редкость) и под визг своей болезненной матушки («тунеядец, шел бы работать, паразит») съедал яичницу, выпивал литр какао и захватив отцовскую сигару и панаму чеховского образца, отправлялся в библиотеку, по дороге заворачивая в зверинец, Жардэн де Плант, музей Естественной Истории или

на блошиный рынок. Всюду у Богдана друзья простого звания: сторожа, воришки, хищники, мелкие коммерсанты. Светило небо или бил косой дождь; душа напевала смешное (рифмовал солнце и двоеженцы, jamais и chameaux).

Его охотно пускали в клетки кормить и чистить лохматых беженцев из центральной Азии или экваториальной Африки. До 10 вечера читал: Плотин, Яков Бемэ, Тертуллиан, Леонтьев. Ночью возвращался к себе боковыми улочками, свернувшимися у ног Пантеона, Клюни и Сорбонны; если оставалась мелочь, покупал в кафе-табак полую, анемичную, французскую свечу (в старинном доме со стеклянной крышей не было электричества, а на ночь мать запирала газ). До рассвета, случалось, писал: немножко в бреду, вполне одержимый и посвященный.

Изредка в журнале печатали его отрывки: без начала, без конца — эмигрантские редакторы, занятые подсчетом советских преступлений, не могли уделить больше места Богдану. Потом на собрании кружка его ругали без зазору, как принято в русской среде, не скрывая зависти и злобы (или он разносил кого-нибудь, причем Манес, Юнг и Блок переплетались с личными счетами, тем более, сложными, что они, быть может, существовали только в воображении). В кабачек приходила часто одна поэтесса, в которую Богдан упорно собирался влюбиться, но, увы... за всю жизнь свою он не поцеловал ни одной русской! Соболиные брови, лебединая грудь, внушали ему страх, хотя и повторял на пирушках: «есть женщины в русских селениях!» — захлебываясь от народнического энтузиазма. Политическая программа друзей Богдана исчерпывалась, кажется, формулой: «ни Ленин, ни Колчак плюс хлеб». Фарс: история поменяла знаки на обратные.

Вот всё, что внешне характеризовало жизнь Богдана, что можно сообщить о нем, скажем, на суде или в полиции, на допросе в культурном застенке. И как это несправедливо, ибо не исчерпывает и одного часа его скитаний днем по зверинцу, вечером в книгохранилище, а ночью на Монпарнассе, в Halles

или сурового жертвоприношения эмигрантского писателя, отрезывающего без совершеннолетних свидетелей собственные члены и приносящего их в жертву лично знакомому Богу (похоже на акробатические упражнения — в высоте, в пустоте, без спасительной сетки). И поток, поток, поток: в крови или в душе? Хор ангелов, вибрация космической борьбы, субстанция мира. В начале было Слово и Его вырвали, как инородное тело: экстракция. Кто это раскачивается вниз головой на трапеции, держа за руки Богдана? Еще раз, еще... на взлете, отпустили и душа делает сальто — попадает на встречную пустую трапецию! Просят не рукоплескать эмигрантскому писателю.

До того: опара России, старый город, отождествляемый с хрестоматией, святками и коньками. Слезами залит мир безбрежный. «Кто я, куда меня Бог несет?», — думает Богдан, ведя девушку под звуки свирели и топота ног, шагающего от застав ополчения Диониса. Жозефина поворачивает к нему бледное лицо, глаза ее блестят оживленно и страдальчески. Они целуются (русскому мальчику немного страшно).

15

Мостовая на рю Вавэн вся загромождена столиками; пары топчутся в сумраке, оркестр играет душное танго, благоухают деревья. Издалека доносится Шан де Депар и смех с бульвара — неугомонная, пьяная речь. (''Prenez garde, prenez garde'' отзывается как: ''ренегатэ, ренегатэ'').

Богдан заказал для себя пиво, для Жозефины порто. Верхние этажи домов в сторону Люксембурга (помнящие еще доктора Гильотина), ухмылялись бледной, хитрой улыбкой рамоликов. Осторожно пробирался автомобиль, сдувая одурманенных фокстротчиков. Завязывали и развязывали таинственные, шаблонные узлы; то, что наполняло сосуды превосходило по ценности самые сосуды. Солдаты, моряки, студенты, туристы муравьиной цепью тянулись у дверей отелей, обнимая одной

рукой своих нареченных, другой закуривая или роясь в бумажнике. Дионис обосновался в Лютеции, на плитах галло-римской эпохи и посылал разъезды во все стороны оккупированной столицы. «Или, или», — призывал Богдан родного, просящего у врагов пить, Бога, ожесточенно припадая к живой, обнаженной груди Жозефины. Она глядела гордо и печально, как мать, знающая что ждет ее детей впереди. Видя его страдальческую рожу, спросила:

— Всё так же болит?

Еще у Сэнт-Женевьевы, подготавливая себе отступление, Богдан пожаловался на зубную боль; затем, целуясь с нею, — у решетки Люксембурга, — он временами как будто ощущал ноющее сверление в зеве под левым глазом. И вот теперь, после вопроса Жозефины, боль точно освобожденная, открыто хлынула на него вдруг и на минуту затопила (чему он искренне на первых порах обрадовался).

— Да, знаешь, я должен поискать дантиста! — решительно рванулся. Не дожидаясь ответа, положил на блюдце деньги и поплыл, разрезая головой, руками густую толпу, словно маслянистую воду. «Вот и конец. Как просто. Или, или. Какой позор». (Этот призрак его еще там околачивается).

Мимо Ротонды, Космоса, Селекта — вынырнул за вокзалом: черное небо, мелкие звезды рю де ла Гэтэ. Попалась на глаза знакомая реклама русского кабачка... Под искусственным небом в подвале, в обнимку топтались пары, раздавленные цыганским романсом.

В углу сидело несколько русских литераторов: во главе стола известный актер экрана, баловень судьбы (в день «русской культуры» он обычно сидел на трибуне между Буниным и Шаляпиным). Он угощал и держал себя с подобающей скромностью — слегка на отлете, в смокинге и перстнях; рядом пристроилась молоденькая поэтесса, та самая, в которую Богдан всё собирался влюбиться, и ворковала улыбкою.

Богдан посидел тихо несколько минут; с ним не разгова-

ривали, вина не предложили: в глухом светре, без галстука, однобортный пиджачек.

Ах, душа моя, мы с тобой не пара,
Ты уйдешь не станет мне больней.
Дорогая самая, у меня гитара,
Ни за что я не расстанусь с ней...

Богдан вдруг приподнялся, скинул пиджак и развернувшись хляснул знаменитого актера, героя «дня русской культуры», по скулам; и прежде чем успели спохватиться, уже степенно удалялся из кабачка, держа в руках порыжевший пиджачек и нагло улыбаясь несовершеннолетней цыганочке (навеки Каин, без аппеляции).

У кафе Версай опять дым коромыслом. Дионис верхом на лесбианке объезжает площадь; музыка сочит яд, вино дрожит в стакане. И трудолюбивые пары, наскучив кружиться, поднимаются и опускаются по лестнице отеля, точно ангелы во сне патриарха.

— «О как много самообладания
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования» —

над кем смеешься, Богдан? Эти лошади по сей день тянули телегу. Они больше себя.

— Ты думаешь? Но в чем отличие одной лошади от другой? Собственно, в чем тайна личности?

Тяжело отдуваясь, Богдан пьет перно у стойки; хмуро озирается, как солдат, вернувшийся в родные места после тридцатилетней войны: ни родных, ни знакомых.

Проститутки обычно в такой праздник отступают в темные, затхлые логовища, брюзжа и чертыхаясь, не в силах конкурировать с чудесным дурманом: Дионис упраздняет дома терпимости. Наиболее предприимчивые и одаренные на одну ночь сливаются с выступившей из берегов стихией, подвизаясь бескорыстно или даже себе в убыток. Такой оказалась Ренэ.

Золотистая, плоская блондинка, американского типа. Улыбнулась дружелюбно-вопросительно.

— Могу я вас угостить чем нибудь? — галантно осклабился Богдан.

— Да, кафе арозе ром.

Он поэт, русский; жалко она не знает иностранных языков. Ее друг, которого недавно убили на заводе, любил читать книги; по его совету Ренэ прочитала Фауста в переводе. Старику захотелось молоденькой девицы и он продает свою душу дьяволу. Quel imbécile!

Прошли темными, умытыми полночными духами, неузнаваемыми аллеями к Люксембургскому саду; там под кустами пищали суслики или фавны. Как близко, рукой подать, за ограду: Галлия, истоки Европы, фольклор, Ева, зачавшая от змия, Благовещение.

Сели на скамью и суслились: целомудренно (не давала волю его гимназическим рейдам). Ее район Монмартр; но в такую ночь не стоит выходить на работу. Впрочем, позднее дурман может рассеется.

«Если отпустить ее, она еще займется клиентурой», — понял Богдан.

Ее друга убили провокаторы во время забастовки. Осталась девочка, живет с бабушкой в Реймсе. Ренэ чуть было не попала в публичный дом. Приятель мужа всё уже устроил. Да она в последнюю минуту сообразила и улизнула. Заплатила тому, но он всё недоволен и обещал отомстить. Это он ей помог освоиться с ремеслом: его сестра в этом деле. Они несколько раз встретились и таким образом была посвящена в тайны профессии. Да, тут есть свои секреты: как подцепить клиента, как ему помочь и понравиться. Одна, как дура мечется, все каблуки стопчет и шиш, а другая в книжечку только записывает адреса и даты солидных рандеву.

Идиотки содержат при себе паразита. Утешают себя: пригодится на случай болезни или суда, позаботится о докторе,

адвокате. Дуры, сутенер обычно скрывается с последними сбережениями, ищи его тогда.

— Послушай, — сказал Богдан. — Уже поздно, пойдем в отель. Отдохнем до утра, как друзья, понимаешь. А с первым метро, расстанемся.

Она, видимо, этого давно ждала. На рю Вавэн, где полстолетия тому назад Богдан оставил тень Жозефины, им преградил дорогу отель, дешевый, мертвый. Вошли и прикрыли дверь, оставшись в кромешной тьме. Но никто не откликался на их зов и покашливание. (Вопрос: «куда идут содержатели отелей резвиться?»). А выйти уже нельзя: дверь захлопнулась и не отмыкалась. «В первый раз со мною такое случается. Спиритический сеанс», — посмеиваясь, но и напуганная, говорила Ренэ, вслепую бередя замок своей пилочкой от ногтей. Богдан послушно ждал пока дверь не отперлась.

Снова отель на рю Монпарнасс: освещенное окно во втором этаже — поднялись в контору. На площадке их встретил мрачный тяжелый хам: такие потом подвизались на черном рынке. «25 франков».

— У тебя есть? — доверчиво спросила Ренэ, уже берясь за сумочку.

— Ну, конечно!

Остались одни под мутной лампочкой: широкая постель посреди большой комнаты, как в буржуазных спальнях. Ренэ быстро разделась, пробежала, целомудренно придерживая кружева рубашки, в соседний чулан, где возвышалось одно непоколебимое бидэ; конфузливо улыбаясь скользнула под простыню. Богдан осведомился можно сделать пипи в бидэ.

— Bien sûr, — ответила она покровительственным басом.

— Нет полотенца.

— Позвони, — приказала строго: — Должны дать полотенце.

На звонок никто не явился; он разоблачился, потушил свет и улегся. Тогда она рядом начала ерзать, порывисто дышать,

как то особенно псевдо-страстно глотать слюну. Приглашая ее заночевать в отеле, Богдану и в мыслях не мерещились соблазны; хотел только предохранить ее от дальнейших приключений. Но теперь вдруг понял: ребячья затея, что он докажет, кому... «По дешевке живешь: и ее спасти и свою невинность сохранить».

— Что ж дальше? — спросил стоически. Она не ответила, только придвинулась ближе и еще чаще задышала. Потом задала какой то технический вопрос, деловито-дружески. — Oui, — неуверенно отозвался Богдан и в это время раздался грубый стук в дверь: «Вы звонили!»

— Да, салфетки! — крикнул Богдан в довольно неловкой позе.

— Они на спинке кровати, у головы.

— А, спасибо... (Видишь, Богдан, Провидение озабочено каждым волосом твоим и пытается вмешаться).

16

Через минуту было покончено с девственностью этого русского мальчика, которого учительница словесности когда то снабжала книгами Гончарова и Аксакова... А он, тайком, под звуки гражданских берданок, читал Фламмариона и Джэка Лондона, чтобы примириться теперь на Бернаносе и Мелвилле.

Ренэ казалась явно разочарованной; помылась и снова благополучно укладываясь, произнесла: — Je te considère comme un saint.

Богдан сообразил: в данном контексте — не комплимент! Свернулась на бок и тихо дыша сразу заснула. От нее чем то дурно пахло. Этот запах, вымышленный или действительный, предыдущих посевов,душил Богдана. Так что, в эту ночь, зубная боль явилась избавительницей, защищая, от вони душевной и телесной. Огонь в зубе представлялся желанным на первых порах.

«Дальше, глубже, вертикальнее, чище, святое жало, свер-

ли, высекай черные звезды. Из темной тучи грядет молния, посыпится райская вибрация. Св. Франциск Ассизский, где ты? Ведь это ты меня погубил»... (Богдан имел ввиду эпизод из жизни святого: в пост Франциск навестил каких то простых людей и те обрадованные этой честью, предложили ему своего лучшего вина. Святой отпил из стакана).

«Я понимаю теперь природу боли, — удовлетворенно думает Богдан, отодвигаясь на самый край постели. — Боль ничего не имеет общего с радостью и не является ее антагонистом: они в разных мирах, полушариях, с другими корнями. Мука одна только перекрывает другие формы зла: вонь, пустоту, скуку. Пока это всё существует страдания спасительны. Но если начнется подлинная пытка, я потеряю управление и превращусь в щепку. Нас обманули: в пору агонии, поздно, поздно уже, Богдан, спасать, исправлять, додумывать. Не засыпай сегодня и завтра, ищи ответа. У стариков и больных нет уже сил. Агония неимоверная нагрузка. Мертвый идеальный дурак».

За окном зеленел, желтел, розовел парижский рассвет. Воздух уплотнялся и становился наглядным, как у французских импрессионистов. Неопытные пары тыкались в запертые двери отелей, звонили, кричали, жаловались, спорили. С бульвара доносились пароксизмы изнемогающих оркестров. Голоса за окном звучали из другого мира, а смех, точно из классического театра. Богдан чувствует нежную жалость к этим шагам, голосам явных неудачников. Его подмывает высунуться в окошко и залепетать на многих языках: — Дорогие братья и сестры, святые творения Бога света и правды. Мужайтесь, уповайте, тараньте стенку. Ваше содержание значительно больше вас самих. Значит, вы больше того, что чувствуете, изображаете и делаете...

Мелькнул торжествующий стан Жозефины, перекрывая и смерть, и ночь и смрад. «Да, с Жозефиной был бы рай и всётаки зуб ныл бы: отдельно и сбоку».

— Это называется кризис сознания, — улыбаясь, шепчет:

— Такая ночь может быть отмечена в истории культуры, как встреча Данте с Беатриче (если у меня кишка Данте). Но кто мне мешает: не кишка же в самом деле? Главное, при вспышке молнии успеть запомнить очертания вырванных из второго мира предметов.

«Как воссоздать эту ночь», — загадывает Богдан. Он пробует хронологический порядок: детство, вечер накануне, планы на будущее, липы, запах, женский смех, весна в библиотеке... И видит: чушь, ничего не доказывает. Плоский поток времени, линейная память никуда не выводят. Решалась судьба, закладывался фундамент, Агнец был заклан гораздо раньше и выше... Тут, по наитию, Богдан догадывается: надо подпрыгнуть! Вертикальная память. Ура, я нашел! Там, во время оно или вернее до времени, когда субстанция мира еще не остыла, были зачаты, сотворены капли, зерна и корни, из которых десять биллионов лет спустя вышла святая душа Богдана с пробором неаккуратным и характером строптивым. Он отказался от сочного сандвича, но украл черствый ломоть хлеба. Почему? Там, там в липких созвездиях ищите объяснения. Вот Афродита лежит поперек Млечного Пути в розовой рубашке с кружевами; Жозефина проплыла с развевающейся гривою. Ева встретила Марию. Кто то стучит кулаком по небу и звезды сыплются, точно стаканы со стола. Ангелы поют: свят, свят, Саваоф... А утренняя звезда, Люцифер, зажав пылающую ноздрю, сигает в море. Да, Карл Маркс прав: бытие действительно определяет сознание, всё бытие!

«Хорошо было бы заразиться, — мелькает вдруг нелепая мысль у русского мальчика: — Логично, справедливо».

Зуб разбухал, накалялся; боль окатывала отдельными волнами, поднимаясь выше, как прибойная полоса. Ренэ свернулась калачиком, едва дыша; принюхиваясь, Богдан лежал с краю, боясь шевельнуться. «Франциску Ассизскому захотелось подражать: широко шагаешь, пупсик. О ту пору еще не было течения времени; только туманные пятна размеров нашего Млечного Пути. Агнец был заклан на перекрестке. Из темной

тучи начали оседать светлые капли. Какие странные отпечатки в лаве. Моя задача отобрать верное от неверного, нужное от ненужного», — решает Богдан, новый разведчик.

Он теперь понял. Художник ничего нового не творит. Творит только Бог, да племя кретинов. Художник ходит по вселенной, склоняется над сонмом замаскированных, противоречивых, нераздельных образов и отбирает важное от неважного, хорошее от дурного, существующее от лживого.

Можно построить машину, которая автоматически воспроизведет все мыслимые словесные, звуковые и красочные комбинации. Но потом очередь за Богданом: его задача отобрать чушь и галиматью от серьезного и захватывающего. Вот ценная жила уходит под землю: твое дело узнать ее, добыть, очистить и уложить в мозаику, если ты прошел искус. Отбор: только и всего! Для этого человек создан свободным: чтобы по своей воле выбирать, не полагаясь на чужой вкус и авторитет. Все тайны космоса можно объяснить в терминах художественного творчества.

Опять всплеск музыки за окном, стук каблуков, смех (нежность к твоим сыновьям, Господи).

«Я не понимаю одного, — продолжает свой диалог Богдан: — Тайны личности. В чем она? Мы отличаемся друг от друга не божественной, святой силой. Дух в каждом один и не умрет и не воскреснет. Убежден: если есть личность, она бессмертна. Но где она? Чем положительным отличается один от другого? Христос, живущий в Павле разве иной, чем в Марье Васильевне?»

Этот проклятый зуб беспокоил его уже давно: всегда после еды. Но стоило поколупать там спичкой, прополоскать и — проходило. А на этот раз ничего не помогало: пробовал и булавкой и теплом. Наоборот, точно докопался до самой нервной ткани, обнажил ее. Ренэ, вдруг, проснулась, потянулась и заулыбалась, как счастливая любовница; он деловито отдергивал занавески. Утро.

— Знаешь, я побегу искать дантиста, — взмолился искренне.

Больше не было речи о встречах, продолжении идеальной дружбы, о совместном чтении Мадам Бовари. Впервые в своей жизни Богдан осознал ограниченность личных, духовных возможностей и как будто сдался, уступил, не желая надрываться.

К девяти часам армянин на рю Вожирар впустил Богдана в приемную и, после неизбежной болтовни, дернул зуб. Одна боль перекрыла другую: не радость симметрична страданию, а второе, новое страдание. Возможность подобной острой, подлой муки во рту свидетельствовала о чем то катастрофическом в природе, где смерть являлась, пожалуй, одной из форм избавления.

Армянин не удалил всего зуба: сломал, оставил незаметный корешек. Десна закрылась, а через месяц опухоль, жар и рентген показали прикурнувшее на боку, дремлющее вроде эмбриона гада, инородное, насторожившееся тело (corps etranger), от которого лучше немедленно избавиться. Пришлось надрезать десну. Но это случилось только через месяц. Пока же Богдан пробирался к себе в мансарду, против церкви Сэн Северэн, вероятно, очень помятый, но явно счастливый и полный творческого запала. Страдания, сомнения, подвиги и грехи; духовный и любовный опыт, разорванная десна и музыка, гул, вибрация: в оно время, когда еще не было причины, протяжения и огня, одна из утренних звезд... Какое чудо расти, отмыкать в темноте чудовищные двери, принюхиваться к запаху жизни, а за пологом реальное присутствие Бога Света и Духа и Сына, темной тучею покрывающего день Бастилии, Латинский квартал, Париж и даже всю Европу, над которой умное ухо уже слышит рокот бомбовозов, подобный грому Синая. Вертикальная память вот улов одной ночи. (Впрочем, и до того уже раз Богдану дантист обломал зуб).

17

Ему недавно минуло 19. Раннее лето; Богдан только что сдал первое башо и ждал оглашения результатов, чтобы укатить на юг. Семья отбыла в Кальвадос к замужней сестре. Он рано поужинал обычной дыней, французским хлебом с маслом — молоко. Поковырял в давно подгнившем зубе, который ему пломбировала жгучая дама в Константинополе. Улегся в постель с «Голодом» Кнута Гамсуна (как после с Ренэ), предвкушая удовольствие от тихого чтения. Но зуб на этот раз вел себя точно норовистая лошадь, в которую вонзили шпору. Вспышки боли чередовались всё раздуваясь, напоминая о конечной агонии. И это смущало молодого, упрямого юношу, уверенного в благополучном завершении всех начинаний: иначе смерть, а гибель для него теперь, конечно, невозможна.

Богдан читает, как загнанный, истощенный герой встречает наконец девушку. Эта тема, пожалуй, самая таинственная и страшная теперь... И всё-таки паршивая, полусгнившая косточка во рту мешает по достоинству переживать подробности невозможно-необходимого диалога, который ждет и Богдана (как агония).

Он ерзал, вставал, чистил, полоскал, ковырял, грел, мазал иодом и снова брался за высокохудожественное произведение. Для чего то сволок матрас на грязный пол и улегся в пыли. Было по летнему душно, за дверью из старого крана всю ночь капала вода; и арабы цепочкой тянулись гуськом по лестнице в соседнюю квартиру, где жило несколько разбитных девиц почему то пользовавшихся особой популярностью среди алжирцев.

В эту ночь искусство впервые дало трещину. Если лучшая книга не может смягчить боли, если ободранный нерв в дупле способен перекричать весь человеческий опыт прекрасного и величественного, то чего же искусство стоит... Игрушка для сытых. «А вера может облегчить и страсть и ненависть», — решает Богдан. (Позже, 14-го июля, рядом с Ренэ, он дога-

дается, что страдания и счастье могут существовать рядом, не пересекаясь, не враждуя).

— Что самое важное для меня теперь? — осведомляется Богдан. — Не Моцарт и не Пушкин, а лекарь. Значит... Впрочем, не любой лекарь, а искусный. Значит...

Так начался период его интеллектуального заигрывания с Марксом, Фрейдом, Дарвином, Юнгом и Павловым: современный Олимп. Эта путаница к счастью благополучно закончилась с испанской кампанией, где Богдан воочию столкнулся с отпрысками этих старцев, серыми и подложными, как советские автомобили. Да, человек шагает по извилистой и неустойчивой лестнице, а ступеньки это зубы: скок, скок, вертикально.

А на утро Богдану вырвали зуб: без наркоза. Малый коренной, крепкий еще (о, сколько их, вероятно, можно было бы спасти).

Врачиха самолично только лечила; для экстракций вызывала из задних комнат мужа, техника с волосатыми руками, присыпанными гипсом. Он долго шатал, гнул (в окне соседнего дома, темная женщина расчесывала длинную косу); наконец извлек что то. Богдан нащупал языком, затем пальцем, новый корень, выросший точно вулканический остров... Спокойно, не без иронии, заявил, что не встанет с кресла пока не удалят по возможности остатки. Да, ему шел 20-тый год и он готовился к большому плаванию. Он пришел на эту землю в результате чудесного бурления сил в продолжение нескольких миллиардов лет и без свирепой борьбы не уступит своего ответственного места; на млечной перекличке раздастся убедительный голос юноши: — Есть, есть.

Схватив другие щипцы, техник навалился на Богдана, но сталь соскользнула, мотнув набекрень мозги. Пробовал разные инструменты, долго бередил, тянул, скоблил, но не мог как следует уцепиться. Утирая гипсовый пот, пытался заверить пациента, что если так всё оставить, то через несколько недель сама десна вытолкнет корешек.

— Я не уйду пока не очистите всё, — весело и твердо повторил Богдан. Казалось, не стоит пройти через все геологические прессы, чтобы очутиться на земле в положении дантиста... Но если уже случилось так, то зубы рви и чини как следует! (о, безжалостная молодежь).

Опасливо озираясь, словно вор, попавший в западню, техник схватил висевший через плечо хобот бор-машины и зацепив винтом глубоко в десне, потянул изо всех своих лохматых сил, выгибая, выдергивая кривой пень. Обрубок выскочил: жалкий и страшный. Несколько мгновений все облегченно переводили дух.

— О, вы молодец, — сказала докторша мечтательно.

— Ваш муж тоже молодец, — снисходительно заметил Богдан.

Пожалела ли она его или почувствовала себя виноватою, только заявила, что поставит бесплатно коронку на соседний зуб с покоробленной пломбою (работа константинопольской школы). Богдан неохотно согласился принять в рот металл, который, вероятно, переживет его... Через поколения и эоны, найдут в пещере у золы челюсть, оповестят музеи. «Homo Emigrans, — скажет профессор: — Видите различного уровня зубная техника. Бедняги, подумайте, при таких резцах, они всё же питались почти исключительно мясом».

Эта коронка выдержала почему то несколько войн и отступлений, торчала ненужная без антагониста: внимательный и раздражающий свидетель всей последующей жизни. А дантистку эту в 1943 году, как потом узнал Богдан, вывезли немцы в образцовый лагерь и сварили в мыло.

«Что такое равновесие во рту? — спрашивает впервые Богдан: — привычное или абсолютное состояние? Где граница этих двух рядов?»

Но не следует чересчур отвлекаться: Богдан занят первой поэмой, которую всё не удается благополучно закончить:

Внушительно тлел наш последний закат
И солнце садилось осеннее.
Нас всех повернули лицом назад
И первые стали последние.

— Здесь покоится Богдан. Он искал темный центр внутри Бога, благославлял солнце, море и детей. Но не мог разгадать своего социально-полового ребуса.

Падал снег.
Прекрасен будет час,
Когда падет смертельный снег
И эту голову седую,
И эту голову слепую
В последний раз
Уронит человек.

Нет, этого недостаточно. Вообще, Богдан, в искусстве надо начинать там, где собираешься кончить (а всё до того выбросить). В этом весь секрет. Мостки через бездну. Но прочен ли мост и ведет ли на тот берег, современник не ведает.

18

На рю Мэсье ле Прэнс, у витрины книжного магазина, Богдан, лицеистом еще, долго простаивал, изучая французское издание Уллиса: английское впервые вышло тоже на этой улице (а не в Лондоне)... Вот урок для эмигрантского писателя. Большевики, Ленин-Маркс не дают тебе заниматься своим делом в России; но буржуа Дублина и Лондона не печатают Джойса.

Попытка, не выпуская из рук пряжу, соткать сплошной кусок времени, без пропусков и узлов, приходила Богдану в голову неоднократно: так по крайней мере ему казалось, когда он читал Улисса. Исключительный опыт для анализа природы

времени. Но в сущности это двойной реализм, субреализм! Без отбора, пропусков, исправлений. Под нашим сознанием бурлит темный поток; Джойс пробил колодец и нефть с газами хлынула на поверхность: но что с нею делать, неорганизованной, неочищенной? Огромным, творческим усилием Джойс создал первоначальный хаос. Стоит ли творить хаос?

Богдан мысленно вел этот диалог, пробегая глазами содержание витрины с Улиссом в центре... и вдруг за окном мелькнул знакомый ему очкастый профиль: Джойс!

Не размышляя, рванулся в магазин. Из задней комнаты выступила хозяйка с видом тигрицы, защищающей приплод. Она знала немного Богдана, бравшего в ее библиотеке авангардные новинки, как и сотню других таких же невоспитанных фанатиков искусства.

— Там Джойс, — начал Богдан глухим голосом, не имея, однако, времени, откашляться: — Я должен ему выразить свое восхищение.

Вздохнув, она провела его в контору:

— Monsieur, un jeune enthousiaste russe voudrait bien saluer votre genie!

Джойс повернул в их сторону голову: за толстыми стеклами маячили подобия глаз, лоб тонкий, немощный, как бы изнеможденный. мягкие волосы. Легко, даже с изяществом, приподнявшись, он протянул сухую, горячую руку.

— Я люблю русских, — произнес любезно.

— Мэсье, я восторгаюсь вашим гением. Это героическая попытка, — взволнованно говорил Богдан, стоя в двух шагах от него и упираясь взглядом в телескопы. — Вы проделали ответственный опыт. Но что дальше? Как продолжать? ведь это хаос, жизнь надо организовать. Что впереди?

— Для этого, я думаю, самое правильное подождать дальнейших произведений мэсье Джойса, — нравоучительно заметила мадам и слегка напирая начала оттирать зарвавшегося юношу к дверям. Богдан покорно пятился назад, когда опять

раздался голос Джойса — и он застыл у притолоки в несколько напряженной позе.

— Вам должно быть очень тяжело на Западе? Скажите, что собственно происходит в России?

— В России гад, — тихо ответил Богдан.

— Я люблю Тургенева, — приподнявшись, Джойс опять протянул руку наугад: видно было, что глаза ему в этом мире мало помогают. — Courage.

Тут Богдана почему то прошибла слеза; мадам тоже выглядела растроганной.

Непосредственным результатом этой аудиенции оказался визит Богдана в университетскую зубоврачебную клинику: впервые за всю свою жизнь, без острой боли и по собственной инициативе. Толстые стекла Джойса так на него подействовали: решил быть, как маститый писатель, даже больше, но без очков и этих немощных складок на узком лбу... Бежать сто метров, прыгать, плавать, лыжи, паруса, вино и женщины и вериги. Всюду на почетном месте, а в одном направлении — первый! Святой, герой, грешник, Дон-Жуан, Пастер, Колумб. Перед Джойсом он имел одно несомненное даровое преимущество (молодость).

Дантист, доктор, ввиде исключения решил не рвать, а запломбировать несколько зубов, что показалось Богдану хорошим предзнаменованием.

Это второй раз уже, что Богдану пломбировали зубы: впервые их приводили ему в порядок в Константинополе, но не по собственной воле... Мать визгливо настояла: «Лентяй, все зубы сгноишь!» Задело; и 14-тилетним подростком отправился к врачихе. Отец всё бегал по общественным учреждениям, печатал статейки о зверстве большевиков, добивался филантропической ссуды, визы, паспорта. Бедный предок, он тоже завернул к дантистке, рекомендованной эмигрантской организацией: та ему поставила временную пломбу, а поменять на вечную уже нехватило усердия.

Богдан тогда был преисполнен зависти по отношению к мальчикам старше его всего на три, четыре года. Бездна разделяла их. Самостоятельные, загорелые солдаты, офицеры моряки, они успели хоть месяц, два принять участие в добровольческом движении. Романтика степных походов, песен и ура — в буран... русская история снова и снова разыгрывающаяся на полях между «Доном и Непрядвою»; жертвы, пытки, подвиги и жестокости, кокаин, Вертинский, Коль славен наш Господь... (из соседнего окопа: На бой кровавый, святый и правый). Командир кавалерийского полка ведет эскадру истребителей; по скалистому берегу бредут усталые саперы со связанными на спине руками: залп, прыжок — чья это папаха плывет за Босфором?

— Не с чего так с бубен.

— Пожалуйте в Иностранный Легион.

Марокко, Джбутти, Индокитай. Святой Артур Рембо, а не провинциальный: зачем Гумилеву ехать в Африку?

«Мы вместе делали поход, пересекли моря и сушу, меняли танк на пароход». Потом такси в Париже («и в стужу кашель роковой»).

Бывает же такая удача мальчишкам, а разница всего 3, 4 года. Бриллианты можно выменять на колбасу и шампанское; невесту на кокаин. Качь пара? Золотой Рог в 20-м году. Труп, трап, триппер. Корь у сенегальцев похожа на оспу. Собачий лай на безлюдном острове (полно, собаки ли это?)... Ржавая жесть, разбросанная без призора: давайте делать ключи для примусов! (Весною поход).

Позже, у переднего края Университетского городка, под Мадридом, Богдан догнал старшее поколение и вступил с ним в ногу; сидя на корточках под испанским небом, он смотрел как вспыхивают за валом немецкие пушки, стараясь запомнить следующий только что пришедший ему в голову образ: разные поколения только зубцы на том же гребешке.

Итак, Богдан целый месяц ходил к милой даме-дантистке, украинке, которую, впервые увидав, он принял за типичную

турчанку. Извилистыми проволоками-иглами она вонзалась в живую пульпу зуба и выдергивала скорчившийся, вопящий «караул», нерв из дупла — похожего на зарывшегося в норку суслика. Первый укол невыносим, — первые роды, первая агония, — второй тише, а третий уже давал удовлетворение: почти на границе щекотания. Богдана мутило от этих щупальцев выхватывающих из подполья живую ткань (так у моря, при большом отливе, нащупать шестом восьминога,— он мягко припадет банками, — и выдернуть его посеревшего из родной стихии). Жалость и отвращение: ткань мира, зачем ты страдаешь! Не личный счет только (можно кричать от боли и ненавидеть себя)... Жалость к слепой, глупой, ошеломленной, святой клетке, протоплазме, трагически выброшенной до времени на враждебный пляж, — она гадливо борется с морозом, тьмою, вихрем, огнем и всеми контрастными силами попеременно. «Зачем, куда... по любви сотворить амебу, способную страдать?» — так спрашивал Богдан над Дарданеллами и ветер с греческих островов не навевал удовлетворительного ответа. До конца всё тот же вопрос, только спокойнее и тише, зарываясь в следующий пласт по мере того, как на поверхности что-то становилось ясным, отчего соотношение света и тени оставалось постоянным (так дробь не меняется от одновременного увеличения числителя и знаменателя).

«Кто я? Божественное во мне принадлежит Богу. А гадливое? Чем я отличаюсь от моих братьев? Божественным, гадливым? Отпечатком пальцев? Комбинацией черт?»

В том настроении Богдан попал в свой первый мистический круг. Беглый сирийский иеромонах-расстрига с толстым чревом и тоненькой женой, читал в погребке по рукописи о сотворении некоего древнего мира, предшествовавшего нашему. Вариант, созданный слугами, оказался непрочным и рассыпался; из этих останков, чтобы спасти хотя бы их, Бог-Любовь создал второй мир, ограниченный предыдущим замыслом и потому несовершенный.

Словно дверцы приотворились перед носом Богдана: и

свету и воздуху больше! Подросток не расставался с расстригой, ночами напролет ведя бесконечные разговоры.

— Я ничего не знаю, — пробовал отмежеваться Богдан. — Поэтому должен руководствоваться только самыми простыми соображениями. Если Бог меня сотворил и наделил каким нибудь талантом, то я должен выполнять дело, к которому способен и как можно старательнее, лучше! Ясно, что ведя себя таким образом я не иду против воли Божьей...

Сириец, весело улыбаясь, рассказывал о батальных сценах между архангелами и ввиде особой милости давал Богдану курить свою трубочку с гашишем и душа последнего отделялась легко от тела — плыла по астральным заливам и каналам. Пробуждаясь, оставалось только вздыхать и тосковать по оставленным фосфорическим рощам.

Обязательно следует описать черный шар, раздувающийся, из которого проливается дождь света. Жизнь это борьба с мыслью, с памятью, с мускулами. Когда мышцы достаточно развились ты берешь следующие по весу гири; так и в духовном плане (только позади собираются прочитанные книги, написанные строки и поднятые тяжести).

Человек это виртуоз, а жизнь произведение архи-Моцарта; каждый виртуоз нужен, личен и нов.

«Здесь покоится Богдан, русский виртуоз, своеобразный интерпретатор. Он умер и его исполнения Магической Флейты никто больше не услышит. Бюрократ! Богдана надо воскресить».

Первая пломба в Константинополе: металл в теле. Галата, многоярусный мост: снизу отходят паромы на азиатскую сторону. Идея обвенчать Азию с Европой могла зародиться только здесь (на противоположном полюсе Берингов пролив). Стамбул посередине — между Бомбеем и Сан-Франциско. Богдана забросило в Сан-Франциско, а в Бомбее никогда не бывал... Можно обладать дьявольской фантазией, прочитать дюжину пособий, изучать планы и снимки — но незнакомый город, его лик, индивидуальность, не откроется тебе даже таким поверх-

ностным образом, как пассажирам автокаров Кука. Тайна реального опыта, действительной встречи. (То же с Богом).

— Ну, французик из Бордо не подкачал, — крикнул с лестницы однажды под вечер отец, возвращаясь со свертками и даже бутылкою: дали визу в Тунис.

19

В Бизерте застряли бы надолго, возможно навсегда, но помогло одно обстоятельство, как будто случайное, однако, для Богдана решающее. Скорпион! Да, гад, аспид. Водились такие миниатюрные чудовища в пустыне, подбирались к самому городу, порту, заползали во двор, на циновку. Негр-артист проходил, ударяя в бубны и гремя литаврами: он показывал разные фокусы с библейскими скорпионами, ловко перебирая их голыми руками (потом бережно складывал питомцев в корзинку).

Богдан с отцом разносил по городу и продавал бисквиты (в каждом пункте зарубежья имеется такое заведение, где почему то охотно принимают русских, слегка только эксплоатируя). И однажды на их фабрику наведался матерой скорпион. Арабы перепугались, но старший, глухонемой, объяснявшийся только вдохновенными жестами (особенно выразительными, когда речь шла о его амурных похождениях), искусный пекарь, успокоил малодушных, объяснив что надо делать. Безобразное, грешное существо окружили скомканными бумажками и подожгли со всех сторон: узкое кольцо огня сомкнулось вокруг хищника... Он приподнял голову, слепую, ограниченную, змеиную, верблюжью, ознакомливаясь с топографией местности и характером опасности (так, во время гражданской войны, Богдан видел за рекой казачий разъезд, привставший на стременах, чтобы разглядеть отрезан ли путь).

Путь был отрезан... тогда молниеносным ударом своего ядовитого хвоста, скорпион поразил самого себя в уязвимую часть между мозгом и спинным хребтом. И всё кончено. Ма-

ленький, божественный, творческий комок протоплазмы, икры, сукровицы, ничтожный, как мусор, уже посеревший, но в чем то родственный Данте, Пушкину, Александру Македонскому. Африканское солнце садилось за Карфаген, за ним Гибралтар, а дальше Азоры, Атлантическая стихия, рукав Великого и Индийского океанов только промоины в льдинах Млечного Пути. А там, на севере, чудесная Марианна Каролингов и Клемансо (от Карла Великого до Карла Маркса): Марсель, Париж, Сорбонна, либеральные генералы и эмигрантские Улиссы (разговоры о Шиллере, о славе, о любви). Кругом огонь и едкий дым от газетной бумаги: надо привстать на стременах (или на брюхе), оглядеться и пойти на прорыв (или метким ударом по собственному затылку). Осанна Богу, осанна Сыну Божьему, осанна внуку Божьему в семени ракообразных... Богдан снимает с пальца, подаренное ему сирийским расстригой колечко со славянской вязью: д у х а н е у г а ш а й т е. Ему кажется, что это самое ему завещал святой скорпион.

Месяц спустя Богдан уплыл во Францию (семья переехала позже): если бы отцу Богдана, сотруднику глубокоуважаемых изданий, сообщили, что в их судьбе важную роль сыграло паукообразное существо, то он бы удивился и возмутился. Но потомок его знает многое по другому о жизни своей семьи (как и о гадах, ящерицах, овнах, разбойниках и Христе).

Он попал на юг к сбору винограда; работа тяжелая, но не изнурительная. Богдан научился утолять жажду вином, рубал крепкими зубами мясо и овощи (смеясь, писал семье уже в Париж, что от константинопольских пломб его челюсти отяжелели).

Следующий зуб (или предыдущий), молочный, пал славной смертью уже в России. Какая испорченная биография: зубы сильные и острые, а хлеба не хватало. Вы жертвою пали в борьбе роковой и Спите, орлы боевые. Пулеметные строфы, опрокинутый трамвай, на площади против почтамта чугунный бюст Александра II. Надпись (Освободитель) осталась еще, а голова отбита. Эскадроны конницы с транспарантом «Мы путь

земле укажем новый». Инфантильная, обманутая, обиженная, пьяная, замученная барами и начальством, неоднократно поротая розгами и батогами, с обнаженной совестью, без сапог, но обязательно спасающая мир, хитрая и себе на уме, хозяйственная, упрямая, биологически неистребимая, аграрная Русь.

— Братцы, за что...

— Мерзавцы, погубили Россию.

Богдан мальчишкою был свидетелем, как бросили трех бойцов в свеже-вырытую яму и завалили, живых, землею; холмик, к ужасу его, ходил ходуном довольно долго, потом дрогнул и осыпался.

— Мы за коммуну не деремся.

— Кiев, Варшава, Берлин.

Гады.

Градом по гадам.

Что это? Перекоп, Куликово поле, Полтава, Бородино, Сталинград? Нет, это играют оркестры по случаю взятия Перемышля. Последняя слава двуглавого орла. (Русское ура и православное аминь перекликаются).

— Да здравствует государь император, — надрываясь картавит, одурманенный сивухой патриотической манифестации, девятилетний Богдан.

Чудовищный инвалид русско-японской войны, на деревяшке, с черной повязкой вместо глаза, герой многих патриотических драк, только этот георгиевский кавалер слышит писк Богдана и в исступлении подхватывает мальчика, высоко подбрасывает, пошатываясь на своем обрубке, ловит и несет впереди толпы, прижимая к жилистой, дубленой, стальной шее... Единственный зрячий глаз, отчаянный, иван-сусанинский и неудержимо гневный, выпячивается от напряжения, грудь раздувается и уши Богдана потрясает истерический, грозный, обиженный вопль: — Да здравствует государь император Николай второй, ррррааааа!

Испустив этот воинственный клич, грудь инвалида еще долго всхлипывает и булькает под ухом Богдана... Так они ша-

гают над морем голов, взятых у Мусоргского. Живой символ тысячелетней, соборной, православной, стихийной Руси. Кентавр, но Боже, какой неустойчивый.

Богдан, припав ухом к гулкой груди известного по безобразным подвигам патриота, жмурится от сладострастного ужаса, проникаясь блаженством эскадронного счастья, коллективного бессмертия. Самоуничтожающе пищит: урраaа.

Ветеран опять сомнамбулически рычит, задирая вверх голову с повязкой на глазу и голова эта похожа на высушенный череп с бородою. (Немного позже, в 1917 году, Богдан увидит его череп в луже, у самого цоколя памятника Александру второму... Черной повязки уже не было: пустая впадина для глаза производила впечатление свежей язвы).

«Государь император!» — волна восторга окатывает опять Богдана. Ему кажется, что если бы не мешали зубы, он бы перекричал толпу. Да, у него во рту всё либо шатается, либо просвечивает. Весь этот год он терял зубы, не покрывая дефицита, к вящему смеху взрослых, а главное, древних. Насмешка стариков не лишена даже определенного цинизма: неприличные намеки, подмигивания, амикошонство.

Да, был такой мучительный вечер в ранней жизни Богдана, когда он неожиданно понял, что во рту у него — зашаталось! Как не поверни язык — мешает; десны горят, зудят. Отец предлагал: «Дай я дерну и кончено, под ним, другой, настоящий»... Но Богдан не верит в чудеса; стыдливо, решительно отстраняет всех этих доморощенных помощников: подождет, посмотрит какой оборот примут обстоятельства. И засыпает в мучительном, обреченном, незаслуженном одиночестве.

Ему снится дворник (очень похож на Сталина, в длинной шинели — дать бы ему деревянную лопату для сгребания снега), гонится за Богданом; понимает: если не сумеет убежать, то произойдет непоправимая замена... дворник превратится в Богдана, а тот в дворника. Вот-вот настигнет! От ужаса Богдану оставалось только проснуться (может быть, воскресение из мертвых тоже произойдет под влиянием непреложной опас-

ности). Светает и мальчик находит в своей ручонке окровавленную, мелкую косточку, которую выковырял, очевидно, недавно.

Утром, во главе няньки и сестры, прошел на кухню и повторил слова старинного заклинания, обращенного к домовому или мышкам — Богдан так и не сообразил... Руководила действом нянька: она приехала из лесного края и звали ее Ягна. В ее комнатушке висели сухие травы и шкурки, а над дверью пучок розог, которыми она, по преданию, секла сына. Мать Богдана часто хворала, тогда не было психоанализа и Ягна катала свежее, прозрачное яичко по лицу, по голове скорбящей, а губы шептали, шептали, шептали; затем яичко разбивали над широкой чашкой и вещие разглядывали. Однажды, заметив в такую минуту подсматривающего Богдана, Ягна так на него отчужденно цыкнула, что он скатился с подоконника прямо в подвал к кучеру, где пахло сыромятным ремнем и блестел дешевым окладом Николай чудотворец, о котором вся угнетенная Русь с гордостью повествовала, что он на вселенском Соборе ударил по мордасям Ария.

Итак, Ягна руководила действом. Богдан смутно помнит: храбро отделился, выступил вперед к большой печи и один на один с таинственными, нейтральными силами подполья, швырнул им издалека отступное, взятку — зуб!

Сестра хлопала в ладоши и визжала от радостного испуга, а Богдан получил взамен новенький гривенник. Ему было лестно, стыдно и беспокойно, точно он участвовал в обязательной, но несколько унизительной игре.

— Но куда идет этот зуб, и почему вырос другой под ним, еще лучше, и что произойдет дальше? — эти вопросы оставались без удовлетворительного ответа.

Сестра в упоении кружилась на пуантах, она училась балету (четверть века спустя немецкие танки ее раздавили под Смоленском; она упала в братскую могилу, где потом нашли много здоровых и гнилых натуральных зубов: искусственные и коронки немцы вывезли в фатерланд).

Да, стоя тогда перед русской печью с гривенником в руке, Богдан недаром фальшиво улыбался, стесняясь всего этого ликования и бессмысленного оживления. Он уже тогда предвидел сколько впереди опасностей и с каким множеством чудесного придется сталкиваться, выдавая его за понятное и естественное.

Молочные зубки... под ними оптимистически возносятся зрелые, реальные, мясные («вот видишь, ты не верил», — скажет отец). Но рот опять начинает линять, гнить, крошиться. Можно починить, залечить, озолотить — между важным делом, между абортом и службою, между книгой и чеком, между экзаменом и революцией. Но зубы продолжают свою метаморфозу — босые, бледные десна не предназначены для бифштекса и поцелуев. Тогда приходит, наконец, дантист и приносит новенькую бледно-розовую челюсть с первозданными, крепкими резцами, клыками, коренными. (Богдан по дороге в Мишигэн видел убитую машиной чету... Только дамские туфли и вставные зубы, успевшие соскочить от сотрясения, лежали целехонькие, бессмертные, рядом. И неизвестно было: что с ними делать, предать земле или сохранить для потомства?).

И как тогда с первыми молочными зубами в руках, Богдану было сумно и неуютно, вопреки смеху и хлопанию близких (недоставало одного уравнения), так и теперь, выйдя от Шумахера и бредя по праздничному Нью-Иорку, он опять жмурился, напрягался, стараясь разглядеть что за всем этим стоит...

Он, очевидно, только что завернул в садик, сзади Публичной Библиотеки (где иногда ему случалось проводить целые дни). Небо было ясное и острый сноп света рассек по диагонали площадь. Тучный голубь лениво пролетел и на минуту попал в радугу солнечных стрел. Тогда что то встрепенулось в душе Богдана и он произнес:

— Всё это окружавшее меня может иметь смысл только в

том случае, если я когда-нибудь воскресну и еще раз твердой рукой пройдусь по черновику. Это ясно и неоспоримо.

Тут он почувствовал неожиданную слабость и сразу осел. Скамья расположена чересчур далеко: рядом, каменная лестница вела, очевидно, в погреб... можно присесть на ступеньках, даже прилечь. Опускаясь на плиту, Богдан успел заметить приоткрытую дверь внизу: оттуда слышались знакомые голоса и доносился заманчивый, похожий на тропические испарения, запах.

— Входите, входите, — раздался навстречу разноязычный гул: — Давно пора.

Шумахер, одетый в лоснящийся смокинг, с бантиком, накрахмаленный, улыбаясь точно церемониймейстер, полуобнял Богдана и повел вглубь.

— Ну, батенька, заставили себя ждать, — укоризненно произнес Нарвин и приподнял ижицы бровей.

— I'm glad it's over, — Лерой подошел и крепко пожал руку Богдана (он пополнел и носил темные очки).

Но удивление Богдана начало переходить в испуг, когда вслед за Лероем к нему приблизилась та самая милая дама, «турчанка», которая ему пломбировала зубы в Константинополе.

Шумахер строго следил за порядком, подзывая поочередно разные лица; те радушно и шумно здоровались, произнося краткие, даже несколько скомканные приветствия:

— Безусловно.

— Как вы хорошо.

— Надеюсь можно.

Когда беспредметное оживление несколько улеглось, Шумахер решительно хлопнул в ладоши и провозгласил: — Господа, пожалуйста! — он явно руководил собранием.

Все поплыли вперед к центру подземелья, где виднелись мостки; толпа неизвестных, разодетая в бутафорские наряды (очевидно, участвовавшая в параде) отступала или раздавалась перед ними... В первой паре шел Богдан подруку с Шу-

махером, за ними вплотную Лерой и турчанка; сзади Нарвин, рядом с допотопной старушкой, повязанной русским платком, казавшейся по будничному знакомой.

Его подвели к высокому столу, накрытому вышитым золотом плюшем; там, блестя лаком, покоился прочный ящик (похожий на те, которыми в старину запасались офицеры и капитаны китобойного флота). Богдан сразу сообразил откуда этот, поразивший его еще снаружи, экзотический запах тления: ларец был из камфорного дерева.

С ужимками своих лучших фокусов и штучек, Шумахер засучил рукава праздничного пиджака и словно борясь с невидимым препятствием, после нескольких пассов и приемчиков, вдруг легко и ловко открыл верх сундучка.

И взору Богдана предстала гора беловато-желтых, червиво-полых, напоминающих зерна, косточек... Зубы. Покоробленные, крошащиеся, умытые дождем, высушенные ветром.

Толпа кругом, — некоторые в ярких, цветных, опереточных мундирах, — смотрела выжидательно и сурово.

— Неужели здесь мои? — ахнул Богдан, жадно склоняясь над ящиком: — Этот? — показал пальцем на крохотный детский резец, невинно покоившийся отдельно, на вате, чем то напоминая младенческий детородный орган.

— Вот, вот, — всхлипнул Шумахер: — Ваш первый молочный, ха-ха-ха. А здесь, глядите, неужели правда! — восхищенно лепетал добряк, выдвигая вперед другую шкатулку. Оттуда, точно на пружинах, выпрыгнули (возлегая на зеленом бархате) две новенькие, литые, крепкие, искусные челюсти. Богдан не мог оторвать от них взгляда. — Да, да, да, — заливался Шумахер, исчезая под складками всепокрывающего смеха: — Это ваши; испокон веков дожидаются! Скорее вина! — приказал хрипло.

Девица в медвежьей шапке английской гвардии подкатила легкий буфет на колесиках; Нарвин и турчанка начали разливать шипучее вино. Тут Богдан, оглянувшись по сторонам,

впервые заметил, что край подвального помещения охвачен решеткою, за которой тоже толпится народ.

— Видите, — говорил между тем Лерой, подавая ему бокал: — Это всё гораздо проще. То, что вы усвоили сегодня, вы могли бы проделать и 20 лет тому назад. Сколько напрасных терзаний.

— Ваше воскресение во плоти! — торжественно провозгласил Шумахер.

— Да здравствует вертикальная память, — гаркнул Нарвин: — Уррра.

Все отпили из стаканов (Богдан вспомнил: с утра почти ничего не ел). В это время Лерой вступил на помост и поклонившись в сторону Богдана, сказал:

— Простите меня, я иначе не мог поступать. Мы сидели в одной комнате и я каждую минуту мог проговориться. Простите меня за невольную жестокость.

— Всё, что вы потеряли в жизни хранится здесь и будет вам возвращено, — шепнул Шумахер восторженно.

А Лерой продолжал:

— Придите ко мне в контору и я назначу вас главным редактором с окладом в 12 тысяч.

Богдана вдруг прошибла слеза: сморкаясь, он всё же не переставал напряженно оглядываться в сторону решетки, где ему казалось люди влезали на ограду, перегибались и жестами, кликами старались привлечь его внимание... В одной из этих фигур он положительно узнал Олимпию: держала над головой мальчика в полосатой майке, сгибаясь под тяжестью, а лицо ее содрогалось от счастливых рыданий.

— Путь ваш был трудный, — напыщенно говорил Шумахер. — Но вы должны благодарить все эти существа, отчасти приносившие себя в жертву, чтобы помочь вам осилить препятствия. Пожалуйте...

К Богдану приблизилась чета, в которой он почти без труда узнал хозяев, несколько лет тому назад прогнавших его со службы при довольно унизительных обстоятельствах; муж

первый, а затем жена, точно заведенные, низко поклонились, потом выжидательно застыли.

— Благодарите, благодарите, — шепнул распорядитель.

— Спасибо, — послушно промямлил Богдан и, вспомнив обидную злобу когда то порожденную этой четой, поспешно добавил: — Извините меня. («Черновики уже исправлены!» — мелькнула блаженная мысль).

Кто то всхлипнул, крякнул сзади, но у Богдана не хватало времени оглядываться. Прямо на него шагнула женщина, конфузливо улыбаясь и вихляя бедрами — Ренэ! Они обнялись и смачно облобызались.

Еще подходили разные люди, иногда пускались в косноязычные объяснения, чаще только молча кланяясь или пожимая руку. Професcор, срезавший Богдана без особых причин на выпускном экзамене; арендатор отеля, не пожелавший подождать со взносом квартирной платы; итальянец, выжимавший все соки из Богдана в конторе.

Растроганный, пробовал со всеми целоваться по пасхальному, но троекратного лобызания не получалось. Древняя старуха в строгом платке выступила вперед и метнула земной поклон; Богдан вот-вот распознал бы ее, но его отвлек знакомый и неприятный голос:

— Придите в мой кабинет, я поставлю пока искусственную челюсть! — настаивал армянин, неудачно вырвавший ему корешек в Париже.

Опять Шумахер начал балаганить: засучил рукава и засеменил перед ящиком, шепча подчеркнутую абракадабру... Вот из сундука поднялась уродливая голова, а затем выполз целиком матерой скорпион; осторожно нащупывая дорогу, он спустился на плюшевый покров и пополз по краю стола, судорожно вытягивая голову и озираясь, точно производя рекогносцировку.

— Ты понимаешь, ты понимаешь! — донесся вдруг до Богдана восторженный вопль из-за ограды. Не могло быть сомнения: там, рядом с Олимпией, возвышался отец Богдана

и широко разевая рот все повторял, словно жизнь его чада зависела от этого: — Ты понимаешь, ты понимаешь...

— Да, да, — яростно откликнулся сын.

Запыхаясь, будто после тяжелой работы и отряхивая пушинки с новенького пиджака, Шумахер степенно объяснял:

— К сожалению, мы только люди и наша помощь часто принимала формы неудобоваримые.

— Too little and too late, — пробрюзжал Лерой.

— Да, случается, — отмахнулся Шумахер. — Видите, у нас тоже имеется оппозиция, — ухмыльнулся он: — Однако, к делу.

Богдану не легко было поверить в этого нового Шумахера; (бессознательно всё время готовился услышать скабрезный анекдотец или кафешантанный романс).

— Еще ребенком вы поняли, что самое реальное в жизни человека, его память, — снисходительно продолжал дантист. — Потом, вы весьма остроумно сообразили, что если смерть реальность, то она не может быть ничем иным как тоже формой памяти. Но тут произошел конфуз и вы задержались надолго. А между тем, последующий шаг напрашивался сам собою: борьба со смертью по существу есть борьба с линейной памятью.

— Да, да, вижу, — покорно мямлил Богдан: — Понимаю... Но зачем всё-таки... там? — он ткнул пальцем в сторону решетки.

Наступило отчасти даже зловещее молчание; народ кругом близко подступил, тяжело дыша в затылок (некоторые из ряженых держали под мышками фаготы, трубы или старинные пищали; но лица были нахмуренные и решительные).

— Это очень просто, — ухмыльнулся Шумахер, беспокойно оглядываясь и слегка отступая. — Вам известно конечно, что умалишенных лечат электрошоком. Таково же назначение агонии, только во много раз сложнее и длительнее. Лишь после жестокой конвульсии каждой своей клетки пациенту доступно воскресение.

— Ты понимаешь, ты понимаешь! — опять донесся знакомый, полный отчетливой любви, голос.

— А вот еще, пожалуйста, — игриво заявил Шумахер, стараясь рассеять и отвлечь внимание собрания: — Это наш подарок, чем богаты, — протянул он вперед руку.

Богдан с удивлением разглядывал связку ключей; смутные облака, тени поднимались со дна души. Некоторые ключи казались буднично знакомыми, точно хранили еще теплоту его пальцев. Ну конечно, вот первая его машина, Шевролэ, а это комната на рю Буттебри; но эти огромные, чугунные? Неужели Российские? В груди что то вздрогнуло, всхлипнуло, затопив сплошным блаженством низкий берег.

— Плачьте, плачьте, нам совсем не обидно, — растроганно уверял Шумахер, тоже сморкаясь и рукой защищая глаза от полыхнувшего яркого пламени.

21

Богдан лежал еще с минуту неподвижно, с трудом приспосабливаясь к новому освещению; первое он разглядел — часы, сбоку публичной библиотеки, на уровне 10-го этажа. Затем увидел, склоненное к уху лицо священника, шепчущего быстро-быстро латинские вирши; невдалеке вытянулась тройка дюжих полицейских, сдерживая напор празднично разодетой толпы Тайм Сквэра.

Священнослужитель прекратил молитву и перекрестил Богдана католическим узором; словно извиняясь, совсем обыденным тоном, присовокупил: «в ожидании каретки скорой помощи... счел своим долгом»...

Тучный голубь лениво перелетел с подоконника универсального магазина на крышу публичной уборной, что наискосок; луч солнца заострился до болезненной чрезмерности, падая уже почти снизу вверх. Мартовский ветер тоже порывался в небо.

Богдан встал и невозмутимо раскланявшись в ответ на аплодисменты жаждавших развлечения зевак, с достоинством удалился, впрочем, все ускоряя шаги, по мере нарастания рева сирены госпитального автомобиля.

Он чувствовал во всем теле (вопреки усталости) счастливую легкость, как после удачного массажа, когда мнится — десяток лет скинул с плеч!

Только левая рука, — собственно маленький и безымянный пальцы, — слегка сжалась и не то горела, не то иначе мешала, отчужденно вкрапленная в общее ощущение витальности и молодости.

День по всем признакам благополучно завершался; веселые девушки с ногами и бедрами слегка напоминавшими Жозефину, проходили мимо, утомленные, но довольные, предвкушая праздничный вечер. И по странному контрасту, внутреннему взору Богдана вдруг предстала загадочная, морщинистая старуха, повязанная строгим платком.

— А ведь это была Ягна! — вскрикнул он с тварным облегчением.

КНИГИ ТОГО ЖЕ АВТОРА

КОЛЕСО, повесть, изд. Новые Писатели — 1930 г.

МИР, роман, изд. Парабола — 1931 г.

ЛЮБОВЬ ВТОРАЯ, повесть, изд. Парижское Объединение Писателей — 1934 г.

ПОРТАТИВНОЕ БЕССМЕРТИЕ, роман, изд. Имени Чехова — 1953 г. (Издание сожжено в Нью-Иорке).

ГОТОВО К ПЕЧАТИ

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ, роман (См. «Новый Журнал» №№ 12, 13, 14, 15, 18 и 19).

ЗАЛОЖНИК, роман —

РОЗОВЫЕ ДЕТИ, избранные рассказы —

ГОМУНКУЛУС, пьеса в трех актах (See "The Third Hour", New York, issue 5).

Повесть «Челюсть Эмигранта» печаталась с некоторыми сокращениями в книжках 49, 50 «Нового Журнала»

Цена $2.00

Склад издания:

"Dialogue" c/o Rausen Brothers, 142 East 32nd St., New York, N. Y.

Printed by Rausen Bros. 142 East 32nd St. N. Y. C. 149